

ЛАДА ИСУПОВА
МАСТЕР-КЛАСС
ЗАПИСКИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА БАЛЕТА
КНИГА – ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ
Рукопись года

ЛАДА ИСУПОВА

МАСТЕР-КЛАСС

ЗАПИСКИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА БАЛЕТА

Москва
«АСТ»
Санкт-Петербург
«Астрель-СПб»

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос = Рус) 6
И89

Дизайи обложки и внутреинее оформлеиие: *Юлия Межова*

Исупова, Лада Семеиовна

И89 Мастер-класс / Лада Исупова. — Москва: АСТ; Саикт-Петербург: Астрель-СПб, 2013. — 380, [1] с.

ISBN 978-5-17-077300-8 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-9725-2428-0 (ООО «Астрель-СПб»)

Перед вами истории — смешные, грустиые, поучительиые, иеизменно ннтересные и погружающие в волшебиый мнр музыки, рассказанные человеком уиикальиой профессии — коицертмейстером балета.

Вы когда-иибудь смотрелн спектакль ие из зрительиого зала, а из-за кулис? А бывали на репетиции или на уроке? Хотнте заглянуть? На страницах этой книги автор проведет вас через «служебный вход», и вы окажетесь виутри учебного процесса, обычио скрытого от постороиинх глаз.

В сбориик вошли рассказы ие только о профессиоиалах или учеииках, но и о людях, для которых музыка или танец ие профессия, а хобби, страсть, часть жизии. Впрочем, часто автор сам чувствует себя учеником, который пытается разобраться в иовом для иего мире — мире танца.

Кинга вошла в шорт-лист иациоиальиой литературиой премии «Рукопнсь года 2012».

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос = Рус) 6

Подписаио в печать 13.11.2012.
Формат 70 x 108 $^{1}/_{32}$. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 2 500 Заказ № 2487М.

Общероссийскнй классификатор продукции
ОК-005-93, том 1; 953000 — кииги, брошюры

ЧИТАТЕЛЮ, СЛУЧАЙНО ЗАЦЕПИВШЕМУСЯ ВЗГЛЯДОМ ЗА ЭТУ КНИГУ, или ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вас утомили инопланетяне, вампиры и надуманные страсти? Тогда вы на правильном пути — эта книга для вас.

Вам надоели привычные будни и хочется заглянуть в совсем другую жизнь? Тогда идите за мной, и увидите, что рядом с вами, на каждом шагу, сотни параллельных миров, о которых вы даже не подозревали, и каждая вселенная огромна, самодостаточна и живет по своим законам. Я познакомлю вас с одним из этих миров, не только фантастика обещает неизведанное.

Вы любите танец и вечерами, вместе с каблуками сбросив заботы дня, достаете балетки, джазовки, испанские, какие угодно мягкие туфли и спешите в зал, где все так не похоже на то, что было с утра, и все дышит иной страстью — танго? фламенко? сальса? балет? Или ваше тело не желает больше никакой обуви — модерн? контактная импровизация? — и душа начинает рассказывать о себе иным языком, минуя слова? Тогда не выпускайте эту книгу из рук — мы с вами говорим на одном языке.

Вы вообще ничего не понимаете ни в танце, ни в музыке, и не нужен вам весь этот джаз? Смелее, не бойтесь, я обещаю, что не скажу ни одного заумного слова, а немного расскажу о том, что меня некогда удивило-зацепило, показа-

лось необычным или смешным, и не только в балете, а вообще, в моей нынешней жизни, а живу я сейчас в Америке, работаю концертмейстером балета в разных учебных заведениях и даю частные уроки по классу скрипки и фортепиано. Не хотите о музыке? Тогда я расскажу старую историю тибетского монаха, вам не придется скучать.

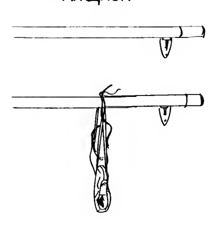
Вы — концертмейстер балета? Моя книга для вас и о вас, коллега. О нашей непростой профессии, балансирующей между двумя безднами — Музыкой и Танцем, и соединяющей их.

Вы преподаете танец? Что ж, вам будет интересно взглянуть на себя со стороны и, возможно, мое имя — всего лишь псевдоним вашего концертмейстера, который молча смотрит на вас изо дня в день? Или хотите посмотреть на мастер-классы именитых танцоров? Я с радостью поделюсь своей коллекцией — это мало с чем сравнимое удовольствие — работать с интересным педагогом. Имена я меняю, названия известных компаний — чаще тоже, но вы поймете, что к чему.

Эта книга для всех, кому нравится сценическое искусство, но хотелось бы также побывать в репетиционном зале и посмотреть на процесс изнутри.

Кто бы ты ни был, мой читатель, смело иди за мной, я постараюсь не разочаровать.

АУКЦИОН



Это было сногсшибательное мероприятие, которое устраивала местная балетная школа,— аукцион в пользу заведения. Пригласили всех действительных и потенциальных спонсоров, родителей и состоятельных людей города. Готовились серьезно. Силами школы и привлеченных родственников: ужин, программа, джазовое трио, лоты — произведения, так сказать, искусства, все очень старались, денег вбухали немерено. Меня ангажировали играть два номера танцующим девочкам.

Приехала, поздоровалась, послонялась. Вечер в разгаре.

Сцены нет — один огромный зал, в торце освобождено место для выступлений, играет бэнд: саксофон, гитара и ударник. Пойду, думаю, погляжу на свой инструмент,

примерюсь. Неделю до этого о нем шли долгие переговоры — заказывали синтезатор. Конферансье (он же организатор, он же чей-то папа, в миру завкафедры какой-то древнющей литературы) — живописный мужчина лет пятидесяти пяти, в костюме и длинном шелковом шарфе от колена до колена. Поговорили, показал лежащий на полу синтезатор. Я начала расстраиваться: клавиши не натурального размера, чуть-чуть меньше — если играть на автомате, то рука берет привычный аккорд, а он не там... Конферансье поизвинялся, ну какой с него теперь спрос? Ладно. Сказал, что сейчас что-то там подсчитывают, а потом, под фанфары, и будет наш выход.

Стали устанавливать синтезатор. Подставка плохая, неустойчивая, буквой X, на уровне чуть выше моего колена. Это ладно, поднимут (блажен кто верует). Принесли стул, постучали по клавише, и вроде всё, начали уходить. Как? Подхожу:

— Простите, а педаль есть?

Конферансье долгим страдающим взглядом посмотрел на меня.

— Есть. Но я ее дома забыл.

— Как?!

— К сожалению.

— Ох, но это единственное, что я просила,— размер клавиш и педаль! Клавиши — маленькие, ладно, но педаль?!

— Пожалуйста, умоляю, без педали тоже хорошо!

Рядом слонялся с бокалом мужчина из совета директоров, от скуки заинтересовавшись нашим диалогом, подошел:

— У вас проблемы?

Одновременно:

— Да!

— Нет!

— Это ужасно: педали — нет, клавиши маленькие!

— Нет, не маленькие!

— Нет, маленькие!

— Нет, не маленькие!

Прибилось еще человек пять, обрадовавшись, что есть чем заняться. Все когда-то на чем-то играли, и началась развлекательная дискуссия на тему «маленькие — не маленькие». Я побежала искать директрису, жаловаться: клавиши маленькие, педали нет, как играть? Она всплеснула руками:

— Что, совсем нельзя играть?

— Играть можно (памятуя Григоровича [1]) — слушать нельзя. А главное — как танцевать под это? Это же детский инструмент, еще неизвестно, какая у него громкость на такой громадный зал.

— Он не детский,— подскочил конферансье,— это «Ямаха», профессиональная модель, как просили. Пойдемте, прошу вас, все будет хорошо.

[1] Отсылка к знаменитому ответу Григоровича на вопрос: «А что, разве артисту нельзя танцевать в 50 лет?» Ответ был такой: «Танцевать можно сколько угодно, смотреть нельзя!»

Все вокруг начали уговаривать, что без педали — хорошо, а размер клавиш — может, и плохо, но расположение-то такое же, а это главное, и зря я расстраиваюсь.

Возвращаемся к спорщикам. Увидев меня, они поспешили оповестить:

— Мы решили, что клавиши нормальные.

— Я рада.

Страдальчески оглядываю синтезатор. Мужчина из совета директоров с радостной готовностью:

— Что теперь не так?

— О, господи! А где подставка для нот?!

Конферансье умоляюще:

— Вы не запрашивали подставку для нот!

— Но я не думала, что ее нет, она мне нужна!

Мужчина из совета:

— Зачем?

— А как в ноты смотреть?!

— Играйте наизусть.

— Я не знаю наизусть! Мне нужна подставка!

— Ну вы придира!

— Нет, не придира, я на все уже согласна, но как я буду смотреть в ноты?!

— Я могу держать их.

Прекращаю заламывать руки и впериваюсь в него. Он молча кивает.

— Давайте сюда ваши ноты.

Даю распечатанные листочки.

— Где держать?

Показываю пальцем. Медленно, с достоинством обходит синтезатор и встает в указанном месте. Зрелище не для слабонервных.

— Все нормально. Я еще буду переворачивать вам листы.

— Могу себе представить.

Обрадованный конферансье начинает бурно благодарить, расстраивать его не хватает духу. Обреченно напоминаю, что пианинку надо бы приподнять.

— Конечно, это пара секунд, сейчас!

И начинается возня с синтезатором. Стою рядом, смотрю по сторонам, идти мне, собственно, некуда. Копошение у подставки затягивается, но не придаю этому значения. Потом чувствую, все затихло, смотрят на меня. Поворачиваюсь, точно: один лукаво, другой страдальчески, взъерошенная прядь упала на лоб.

— Что?!

— Послушайте... а что, на такой высоте совсем нельзя играть?

— Что? Вы что, издеваетесь надо мной?! А на чем мне сидеть?! Нет, это невозможно! Это невозможно! А почему нельзя подставку поднять?!

— Тут заело, нужны плоскогубцы, оно не отворачивается.

Какая-то женщина с виноградом заметила:

— А переверните подставку на попа́. Будет выше.

— Гениально, спасибо, ура!

Переворачивают. Стою мрачно, как Станиславский, уже не верю ни во что. Получилось горкой: правая сторона выше, чем левая.

— И что это? Как играть?!

— Это ерунда, это почти не видно! Попробуйте, пожалуйста, попробуйте!

Чтобы не выглядело, будто я капризничаю, прошлась по беззвучным клавишам.

— Нет, это невозможно, когда начну играть в темпе, будет мешать, это же правая рука.

— Мы перевернем наоборот, под левую,— с надрывной готовностью предложил конферансье.

— Да какая разница?!

— А давайте подложим ей что-нибудь под правые ножки стула, тогда правая рука будет на нужной высоте,— пошутил советник.

Конферансье с обожанием посмотрел на него.

Нет, всё, мое терпение лопнуло, я повертела головой в поисках директрисы и только собралась к ней рвануть, как конферансье цепко схватил меня за локоть:

— Я вас очень прошу, очень прошу! Сыграйте, пожалуйста, я не смогу пережить, если подведу столько народу! Все так ждали, девочки так готовились, это ужасно, это ужасно, и я один во всем виноват! Я готов сделать что

угодно, ну давайте, я буду держать левую сторону синтезатора, чтобы было ровно?

Моя гневная решительность была сбита, я уставилась на него. Понятное дело, отказать ему язык не поворачивается, но играть, когда один — ноты держит, другой пианинку на весу... это как-то за пределами, все-таки не варьете. Они, почувствовав, что я сдаю оборону, стали говорить больше и разом, я перестала понимать.

— Нет,— начала я растерянно,— это невозможно. Вы будете качаться и шевелиться, я буду путаться.

— Мы не будем даже дышать!

— Но представляете, как это будет смотреться со стороны?

— Я скажу очень проникновенную речь, очень, вот увидите! Публика будет в полном восторге, это я обещаю! У нас нет выхода — девочки должны станцевать!

Совсем расстроившись, я отошла от них подальше (вдруг еще чего выкинут), отправилась искать директрису. Она давала последние напутствия девочкам, они были уже одеты, точнее, конечно, раздеты — одним словом, готовы к выходу. Стоят, как всегда, хихикают, волнуются, мерзнут. Стоим с ними, болтаем, ждем команды и вдруг видим: бежит к нам конферансье. В таких случаях обычно говорят: лица на нем не было. Но у него было лицо — у него было страшное лицо! Я сжалась: господи, что еще? Там больше нечему случаться! Максимально вжалась в стену, чтобы дать ему без помех промчаться мимо, но случилось худшее: он бежал ко мне.

— Это катастрофа! Нет адаптера!!!

Я не знала, что такое адаптер, поэтому его отсутствие меня не огорчило:

— Ничего, не расстраивайтесь.

Он, сбиваясь, объяснил, что без него система вообще не работает. Никак. Я в душе вздохнула с облегчением и пошла искать директрису. По пути наткнулась на вездесущего советника, сказала, что все, нет адаптера.

— Послушайте,— ответил он,— вы уже согласились играть без стольких этих штук, а сейчас опять уперлись! Сыграйте, а? Я так понял, что вы можете играть и без всего этого.

Пришлось объяснять, что я уже согласилась играть и без адаптера тоже, но теперь проблемы у конферансье.

Началось нервное совещание. Варианты были: послать за адаптером и ждать или отменять выступление. Я предложила сгонять домой за дисками с балетной музыкой, по дороге я бы подобрала подходящий вариант. Но директриса, подумав, отказалась:

— Видишь ли, мы единственная компания в округе, которая работает только под живую музыку, и здесь все наши спонсоры, которых мы убеждаем, что это необходимо. Я специально готовила так, чтобы номер был не под запись, мне необходимо сегодня — под пианиста. Ты можешь ждать?

— Подожду, конечно.

Конферансье сказал короткую блестящую речь, и публика прокричала в ответ:

— Конечно, подождем!

Началось ожидание.

Музыканты заиграли, кто танцевал, кто слонялся, конферансье периодически развлекал публику, как мог.

Минут через двадцать он подошел ко мне и поделился терзающей его тайной: он не был уверен, что адаптер дома (куда рванула жена). Он не помнит, видел ли его вообще.

Так...

— Тогда давайте скорее скажем директрисе об этом, нужно же как-то подготовиться, если что?!

— Нет! Еще есть надежда, возможно, это я просто нервничаю.

Ничего себе! Теперь нервничать стали вместе.

Послонявшись еще минут десять, подхожу:

— Какие новости, вы звонили жене?

— Да! Она забыла свой мобильный здесь, вот он.

Подходит несчастная директриса:

— Сколько еще ждать? Публика расходится, девочки мерзнут.

Конферансье разразился стенаниями и извинениями. И тут мне приходит гениальная идея:

— А давайте попросим музыкантов сыграть нам?! Они ж импровизаторы, они все могут!

— А они согласятся?

— А куда им деваться? Это будет феерически! Все недостатки спишутся на экспромт, родители будут счастливы, публика в восторге, трогательность момента добавит остроты, а потом все только об этом и будут говорить!

Мы плотоядно посмотрели на музыкантов и стали брать их в кольцо.

Директриса нанесла первый удар:

— Помогите, спасите, выручите, наша жизнь в ваших руках!

Они растерялись. Директриса добила:

— Девочки замерзают на цементном полу, публика ждет, нужно сыграть, иначе отсюда никто не уйдет.

— Но у нас нет опыта играния балета,— испуганно произнес честный ударник.

— С завтрашнего дня можете вписать в свое резюме, что есть! — выхожу на арену я.— Это очень просто, я сейчас все объясню.

Директриса ободряюще мне кивает и отступает назад, но далеко конвоиры не отходят. На всякий случай. Хотя, надо заметить, музыканты и не предпринимали попыток к бегству, они оказались гораздо сговорчивее меня. И я скороговоркой начала курс молодого бойца:

— Играть нужно две вещи. Первая — медленная, сладкая, романтическая, четыре четверти.

— Напойте,— сосредоточенно сказал саксофонист, прижевываясь к саксофону,— я попробую запомнить.

— Не надо, играйте свое, что привыкли, главное, чтобы было красиво, без напряга.

— Все равно спойте, мы возьмем ваш ритм.

Запела искомое па-де-де из «Дон Кихота». Через пару тактов осенило — ритмический рисунок там один в один — «Love Me Tender» от Элвиса Пресли. Забавно.

Они оттолкнулись от этого и начали шепотком импровизировать. Выходило просто отлично.

— Главное, держите квадрат.

Саксофонист, не отрываясь от инструмента, показал локтем на ударника:

— Пусть он держит.

Как он?! Я чуть было не ляпнула, что почему бы всем не подержать квадрат для верности?! Но промолчала: кто их знает, может, у них специфика такая? Ладно, буду сама считать.

— Долго так играть?

— Четыре квадрата, а потом повтор.

— Как повтор? — вздрогнули двое и перестали играть (я же забыла, что они импровизаторы!).

— Не надо повтора! Играйте как хотите, я махну, когда хватит.

— Хорошо.

— Отлично, а теперь вторая вещь: три четверти, в таком-то темпе, как бы подпрыгивая, с затактом и буйно.

Саксофонист недоверчиво поднял бровь, а ударник, напротив, обрадовался:

— Так пойдет?

И заиграл.

Раз: слабая доля.

Два: сильная доля.

Три: своей металлической кисточкой мазанул по поверхности.

Далее по кругу. Я растерялась:

— Нет, не так! Первая доля должна быть сильной, а остальные — слабые.

— Что, всегда? — ужаснулся он.

— Всегда.

— Какой кошмар.

Они начинают тихонько примеряться, звучит забавно, интересно, но необъяснимо-нелогично, пытаюсь представить танец с большими прыжками, но нет, не выпрыгивается. Прошу облегчить вторую долю или вовсе убрать. Плохо на меня посмотрели, но делают!

— Ну что, нормально?

— Отлично.

— Знаешь,— осенило вдруг гитариста,— а давай ты будешь петь? Будет то, что надо.

— Нет! Я не буду петь! В балете не поют, у вас все здорово! Я слов не знаю! — И, не дав им опомниться, сбежала говорить, что все готово.

Девочек выстроили, публику посадили, разволновавшийся конферансье вышел на середину и только собрался говорить, как в конце зала появилась его жена, она махала руками и кричала: «Я здесь, подождите!» Зал зааплодировал и захохотал. Большинство публики составляли родители и друзья, поэтому никто не сердился. Мужчины срочно стали готовить инструмент. Оказывается, мудрая женщина привезла еще педаль и плоскогубцы! Работа закипела. Мы благодарили музыкантов за отзывчивость, я расстроилась — с ними было бы эффектнее.

Итак, все готово, девочки стоят, директриса держит радостную речь о школе, о девочках, о живых пианистах, ее прерывают аплодисментами и воплями одобрения из зала. Я сижу за синтезатором, передо мной замер живой «пюпитр». Волнуюсь. Вдруг из темноты бесшумно появляется саксофонист, наклоняется к моему уху, делая вид, что поправляет какие-то настройки, и тихо-тихо спрашивает:

— Почему он держит вам ноты?

Я поднимаю глаза. Ну что сказать? Если бы передо мной был представитель любой другой профессии, то я, конечно, сказала бы, что не знаю вещь наизусть, а подставки нет. И любой человек посочувствовал бы мне. Даже, может быть, серьезно кивнул бы в ответ. Но для музыканта это же сюр какой-то! А что делать? Тихо отвечаю:

— Подставки нет.

Он, не меняя выражения лица, не говоря ни слова, забирает мои листочки у и. о. пюпитра и уходит.

И опять же, кабы это был представитель любой другой профессии, я бы тут же вскинулась и побежала бы вслед: «Позвольте, гражданин, куда вы понесли мои ноты?! Мне сейчас играть!» Но я даже не обернулась. Появилось ощущение, что я тут не одна. Будут ноты, никуда не денутся.

Через полминуты он вернулся с оркестровым пюпитром и молча поставил его перед синтезатором. Там даже подсветка была. Роскошно.

Когда все речи стихли, под бурные аплодисменты, я бы сказала — овации, девочки высыпали на сцену. Долгожданный момент настал!

Я не видела их выступления — инструмент был дикий, отдельные ноты выбухивались громче других, педаль срабатывала не всегда. Я сконцентрировалась на игре, очень старалась. Еще не стихли аплодисменты после адажио — дала вступление на большие прыжки, и вот тут-то и начался кошмар: крайние девицы прыгали в метре от меня, гибкий пол ходил ходуном, и «Ямаху» начало подкачивать и подбрасывать. Утлая подставка не выдерживала. Инструмент подпрыгивал, рядом — никого! Дальше — больше: он начал подскальзывать на меня, грозя свалиться на колени. Я шпарила и думала только об одном — чтобы успели дотанцевать до того, как инструмент завалится. Когда стало

совсем критично, я сдавленно запищала: «Help!» — и саксофонист, подскочив одним прыжком, молниеносно перевернул страницу. Увидев, что на другой стороне ничего нет, тут же вернул назад. Все-таки у импровизаторов мгновенная реакция, что ни говори. Впасть в кому от перевернутой страницы я не успела, потому что это и так уже был конец — финальные аккорды — пам, ям-пам!!!

И это последнее «пам», как стрела, попавшая «в яблочко», взорвала наэлектризованный зал, все звуки обрушились разом: мы с музыкантами захохотали в голос над перевернутыми страницами, над тем, что все удачно закончилось; публика повскакивала с дикими криками и овациями. Если кто-то из девочек в будущем станет мировой знаменитостью, такой успех будет ох как трудно повторить. Директриса обнималась с кем-то справа, кто-то слева обнимал их обоих сверху. Девочки с горящими глазами откланялись, но не собирались уходить, абсолютно счастливые. Они смотрели в зал, как на большой экран, и разглядывали публику — публика и сцена поменялись ролями. Ликовали и хохотали все. Директриса, вырвавшись из объятий, рванула к микрофону и, смеясь, стала тараторить какие-то благодарственные и радостные слова, но слышно ее не было. И тут к микрофону прорвался конферансье и, не дожидаясь тишины, воскликнул, широко распахнув руки:

— Друзья!.. Вы не представляете, а как я рад!

Зал грохнул и утопил его в аплодисментах.

СНОВА ОСЕНЬ



Все балерины, в принципе, разные. Но мы не о них сегодня, а об одном занятном случае у нас в колледже на уроке, хотя придется все-таки пояснить, что балерин можно поделить на множество мельчайших категорий, а можно и, сильно упростив, на две: есть на свете, среди миллионов учебных заведений, одно из лучших, и уж точно самое известное — Академия имени Вагановой, в быту — Вагановка. Весь балетный мир произносит это слово с придыханием, но с самым большим, правду сказать, сами вагановские, их даже отличает некоторый характерный снобизм — они остальных за балет не то чтобы совсем не считают, а так, кружки самодеятельности на пуантах.

И вот однажды моей вагановской подруге, преподающей неподалеку, понадобились для постановки юноши,

у них в школе нет, а у нас есть, поэтому попросилась она к нашему преподавателю на урок.

Я, конечно, предупреждала, да и педагог предупредил, что они у нас кривенькие-косенькие, не классические танцоры, а в основном танцоры модерна, которым по программе положено заниматься классикой, и что ловить ей там некого, кроме, пожалуй, одного, но ему можно и так позвонить, не теряя времени на просмотр. Но вагановские, они ж чужим словам не верят, им нужно своими глазами посмотреть, поэтому договорились о встрече.

Чтобы ее визит не выглядел как смотрины, она пришла якобы познакомиться с нашим педагогом и позаниматься. Встала она, как положено гостям, в дальний угол, никто на нее внимания не обратил, и урок начался...

Играю.

Настроение хорошее. Шутка ли — подружка на урок пришла? С ней и похихикать можно, и музыкой побаловать узнаваемой, поболтать потом, да и вообще. Минут через десять замечаю: что-то я ошибок много делаю, наспотыкалась столько, сколько за месяц не бывало. Странно... Начала к себе прислушиваться, ошибки на ровном месте обычно бывают от волнения, но с чего мне волноваться? Ничего нового не происходит — Катю я давно знаю, ей, как педагогу, уроки тоже играла, ее присутствие меня беспокоить не должно... Может, это я просто рассла-

билась, от предвкушения? Так, не дело это, нужно срочно сосредоточиться, посерьезнее надо, и, выкинув из головы постороннее, впиявливаюсь глазами в педагога, мобилизовываюсь. И вот тут началось: стала лепить ошибку на ошибке, путаться, вообще не понимаю педагога, что это?

Простые вещи еще идут, что происходит? Стараюсь, как студентка перед госкомиссией, а только хуже и хуже. И, наконец, доходит: он ее боится! Всерьез! Я его вообще не узнаю — голос, манера, ведение урока, задает какие-то немыслимые навороченные комбинации, ему не свойственные, сложность на зауми, поэтому музыка на это и не ложится. И ко всему прочему его напряжение передается мне, ведь, когда играю — я точный слепок, эмоциональный скан преподавателя, материализую его желания и эмоции. Вот вам и пожалуйста! Заодно вспоминаю, что с утра его не узнала: испокон веку он ходит на занятия, как Спартак,— полуголый, а сегодня явился одетый, в мужских штанах — другой человек.

Так... Срочно надо от него «отключиться» и работать в автономном режиме, а то совсем все завалится. Пусть там творит свое, что приготовил, а я буду играть, не глядя на эти художества, авось продержимся.

И правда — полегчало.

Урок идет своим чередом, маленько наладилось.

Как правило, студенты начинают заниматься одетые, а потом постепенно раздеваются... и когда сорокалетняя Катя сняла свою огромную кофту, а там вагановская спина, народ стал на нее немножко коситься: кто это?

А никто. Занимайтесь — не отвлекайтесь.

А уж как стали медленно ноги поднимать, двадцатилетние уже медленно подняли и медленно опустили, а у нее нога, совершенно независимая от тела, еще плывет навееерх, а потом так же медленно вниииз, и ни один мускул не шелохнется на лице, и студенты уже заняты не собой, а выискивают ее отражение в зеркалах, и тихий шелест по классу: «Кто это? Кто это?!»

Классический урок делится на три части: *станок* — делают упражнения, держась за палку (станок), *середина* — упражнения в центре зала и *диагональ* — беготня и большие прыжки по диагонали зала, самая бурная часть. Катерина отстояла станок, немножко середины и тихонечко села на стульчик рядом со мной — начались смотрины.

Пошли мелкие прыжки, студенты забегали-запрыгали, работаем, я сосредоточенно слежу за классом и вдруг улавливаю за собой какие-то похрюкивания. Глянула — Катя то ли сморкается, то ли чешется, ладно, играю дальше.

Шум нарастает, урывками приглядываюсь — она давится от смеха, плечи вздрагивают. (Потом, после урока на мое

«Ты что, совсем уже?!» она извинялась, мол, такой уморы и таких парней она никогда не видела, «Трокадеро» [1] по ним плачет.) Играю, на нее зыркаю, она стала подвывать, глазами на некоторых показывает, а чего мне на них смотреть?! Я что, их первый раз вижу? У меня иммунитет.

Они танцуют лицом к нам, косятся уже, у Катерины тушь по щекам течет. В паузу бросаюсь к сумке на предмет салфетки — нету, только старая, не выкинутая вовремя (пыль протирала), Катя с радостью хватает и, подвывая, шумно в нее сморкается. Играю все громче, прошу, чтобы перестала смотреть на зал, она падает лицом в колени и начинает глухо хрюкать оттуда, мы переругиваемся — я сквозь зубы шиплю на нее, она охает, со стороны кажется, что у нас междусобойчик, хотя педагог, конечно, догадался, в чем дело.

А когда мальчики побежали по диагонали на нас, Катерина вдруг встала со стула, ну переклинило человека, бывает, опустилась на колени и, причитая, отползла за меня. Села в угол на пол и зарыдала.

Я думала — помру. Стараясь это заглушить, играю, да нет, не играю, а бьюсь в падучей о клавиатуру, удваивая октавами все, что в состоянии удвоить, добавляя демони-

[1] *«Les Ballets Trockadero de Monte Carlo»* — комеднйная балетная труппа, состоящая из одних мужчин. Хотя основная задача компаннн — созданне спектаклей-пароднй на классический балет, технический уровень танцовщнков очень высок.

ческое тремоло в левой, а это ж маленькие прыжки, там демоническое совсем ни к чему, но я наяриваю, пошире приподняв и растопырив локти, потому что на мне шаль, и я пытаюсь загородить угол, в котором колотится подруга, левую ногу ставлю на правую педаль, а правую отставляю подальше, чтобы занять побольше места.

Наконец она потихоньку успокаивается, класс переходит к большим прыжкам, а они — это цель, собственно, визита. Тогда она неимоверным волевым усилием берет себя в руки и, собрав с пола всю пыль, выбирается из угла и пристраивается обратно на стульчик. Смотрит аккуратно, выборочно, не на всех, настороженно прислушиваясь к своему организму — как бы опять не всколыхнулось.

И был в том классе один танцор. Выучка у него была так себе, но данные! И это при совершенно небалетном телосложении: коренаст, широкоплеч, даже приземист, никаких удлиненных рук-ног; он был не принц, а воин, классический Отелло. Когда занимался с открытым торсом (чего больше никто себе не позволял), он, единственный чернокожий, выделялся на фоне субтильных парней, властно рассекая воздух своим точеным телом, напоминая мятежного демона, случайно залетевшего в чужие края. Нрава был заносчивого, высокомерного, глядел свысока. Есть в балете традиция: по окончании класса все во главе с педагогом делают реверанс, аплодируют, а потом на секун-

ду подходят к роялю поблагодарить пианиста, этот же не подходил никогда — «не царское это дело». Ну и я не замечала его существования, а вот тут нужно пояснить.

Концертмейстеры, как и балерины, бывают разные. И некоторые умеют «играть под ногу»: у каждого танцора индивидуальные способности — физические данные, дыхалка, музыкальность, техника и плюс к этому состояние на данный момент, поэтому, когда танцор, например, прыгает, даже если и «в музыку», то его «взлет» не всегда попадает идеально в ритм, на мизерно-маленькую долю, но различие будет. В зависимости от сиюминутной формы ему будет удобнее так или иначе. Если эта разница большая — мы говорим об отсутствии мастерства или музыкальности. Поэтому танцору нужно «догнать» время, которое он упустил, и наоборот. И вот тут помогает пианист (на спектакле — дирижер), идеально следуя за танцовщиком, он подчиняет музыку его танцу, сокращая и подгоняя; где надо — поднимая его в воздух, где надо — давая ему больше времени на разбег или отдышаться, причем делает свое дело мастерски, и выглядит это не так, будто поддавший музыкант маленько потерял ориентацию, а как будто блестящий танцор идеально вписывается в роскошную музыку, рождая ее своим телом. Толковый концертмейстер может вытащить на себе солиста, помогая ему в нужных местах и прикрыв просчеты, равно как и

зарубить на корню хорошее выступление, ибо не родился еще тот танцор, который может вписаться в пируэт, если пианист этого не хочет.

Умение «играть под ногу» не то чтобы редкое, но и не частое, и танцоры обычно не избалованы этой роскошью, а привыкли приспосабливаться даже к самой неудобной музыке, к тому же, когда танцуют несколько человек, невозможно угодить каждому, поэтому традиционно выбирают лучшего и играют «под него», остальные — извольте вписываться. Но, безусловно, если этот лучший очень сильно отличается от остальных, то извиняйте, батьку, темп выбирается средний, чтобы не подрубать остальных (хотя главный акцент, конечно же, дашь любимчику).

Итак, класс пошел на гранд жете (большие прыжки на диагонали), пронеслись девочки, подошли мальчики, и музыка «отяжелела» — мужской прыжок мощнее и шире.

Первая мужская группа выполнила свою комбинацию, приготовилась следующая, настал черед мавра. Он качнулся, пребывая в каком-то своем внутреннем состоянии, и поднялся в воздух.

Так уже бывало: поскольку ему легко выполнять то, над чем пыжатся остальные, он иногда, не стараясь вписываться в общий темп, дает себе волю и делает что-то свое. Как правило, успевает сделать только один элемент, класс уходит

дальше, музыка заканчивается. Так произошло и на этот раз: он встал последним в четверке и с размахом совершил неожиданно сложный элемент, собираясь сойти с дистанции, не осознавая еще, что музыка вдруг железно последовала за ним, а финальная нота, звенящим ножом гаучо, срезав остальных танцующих, вонзилась в пол вместе с его ногой.

Его колено дрогнуло от неожиданности, но за долю секунды он сориентировался, развернулся и взлетел опять. Это был единственный тяжелый прыжок, все остальное он выполнял уверенно, без доли сомнения, как истинный премьер. Два парня из танцующих остановились, третий, немного пройдя по инерции, растерянно обернулся. Головы балеринок, как у стайки воробьев, одновременно повернулись в сторону рояля, перешептывания оборвались.

На вторую диагональ посуровевшие мальчики вышли максимально собравшись и попробовали лететь на равных, но я безжалостно, как одним движением руки, смахивающей шахматные фигуры с доски на пол, расчистила ему пространство. Сегодня был его день.

На третий заход ни один парень с ним на диагональ не вышел.

Играть было очень трудно — кроме того, что абсолютно неизвестно, что он выкинет в следующий момент, сама

его манера была необычной. Это особое наэлектризованное состояние — вести яркого солиста. Напряжение предельно высокое у обоих, и незаметная ошибка музыканта может обернуться заметной ошибкой у танцора. (Это неизменная задача концертмейстера — слиться с волей солиста, почувствовать его тело, как свое, пронести его танец так, чтобы он заряжался от тебя ощущением собственного всемогущества, и в случае идеальной, виртуозно исполненной работы, получить единственно желаемый результат — триумф танцора — его триумф. С последней нотой музыкант перестает существовать для всех — специфика профессии.)

Его не испугало наше внимание. Скорее, наоборот, он подчеркнуто его игнорировал, делая вид, что ему наплевать, что выступает в роли быка на арене, которого разглядывают и выбрали неизвестно для чего — на завод или на убой. Он демонстрировал свое мастерство зло и хладнокровно, диктуя музыке, что делать, и в то же время с легкостью отвечал на мои провоцирующие подачи: «Хочешь? На!»

Студенты поняли, что странная гостья сидит здесь неспроста и неспроста охаживал ее педагог в начале урока, а в конце ушел в тень, предоставив полный карт-бланш, и все, что сегодня происходит,— делается для нее, и солист в жестком азарте завершал свои движения все ближе и ближе, точно у ног Катерины, как матадор на арене корриды,

посвящающий свою победу некой Даме, с той лишь разницей, что ни разу не соизволил взглянуть на нее.

Урок закончился, начали делать реверанс, Катерина, ойкнув, как девочка, вскочила и присоединилась к классу, поклонившись педагогу и концертмейстеру.

Студенты разбрелись одеваться, Катя подошла к мавру.

С ним не сложилось: оказалось, что он под завязку загружен в театре, давно танцует. Она наговорила ему кучу заслуженных комплиментов, он строго принял, он привык.

Засим и разошлись...

...На следующем уроке все вернулось в свою колею: пришел традиционно полуголый преподаватель, девчонки, стайкой пролетая мимо рояля, чирикали и кивали, мальчики здоровались более подчеркнуто, а мавр, как водится, гордо проплыл, не здороваясь.

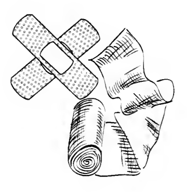
Отработали урок и под финал доскакали до больших прыжков. Прошли девочки свою диагональ, готовятся мальчики, и вдруг замечаю — иди-ка ты, а мавр и не собирается вставать в мужские группы, а пропускает их вперед, вознамерившись прыгать в одиночку! (Поясню: это на грани хамства, такие вещи позволяет или не позволяет педагог.)

Зыркнула на педагога — молчит. Девицы, увидев такие приготовления, побросали свою возню и замерли в пред-

вкушении. Парни, поджав губы, собрались смотреть не так откровенно, а как бы между прочим; сидящие на полу «освобожденные» встали, чтобы было видно, никто не хотел пропустить шоу.

А мавр даже не взглянул на преподавателя стеклянными глазами, уже задышал, уже сжатой пружиной замер и мысленно уже летел в безбрежном пространстве — аккорд — прыжок — да как выдаст немыслимое сальто-мортале, спасибо, через голову не перекувырнулся, закрутив некий самодеятельный пируэт, на такое художество не только темп замедлить надобно, но и вообще — добавочную музычку, чтобы все вписалось, в общем, взлетел в облака сокол самоупоенно, а мне-то что? У меня регламент и первозданный темп, я, как играла, так с рельс и не свернула, когда он там крутился под потолком, у меня, извиняюсь, уже каденция и финал, и где там студент болтается во время моего заключительного «Пам-пам!» — меня не волнует, мой рабочий день закончен. И солист, с размаху врезавшись в тишину, задыхаясь от ярости, свалился кулем и вперился в рояль, раздувая ноздри, как бык на арене, но я этого уже не видела, и сдавленного хихиканья не слышала, потому как к тому времени уже зевнула, отвернулась и в задумчивости стала разглядывать желтый куст за окном: что-то ранняя нынче осень...

ВИЗИТ К ВРАЧУ



Как-то, одним снежным декабрьским днем, обессиленная борьбой с гриппами-простудами, я побрела к врачу — ну совсем прижало. В местной не принимали, поехала искать другую клинику. Нашла, повезло, тут же взяли, к тому же ассистентом, как оказалось, работала моя давняя русская подруга.

Врач попался медлительный пухленький ровесник, итальянец по происхождению. Поставил диагноз, выписал лекарства, все чинно. Проинструктировал, как принимать первое лекарство, занудно приступил ко второму:

— А эта таблетка значительно снижает реакцию, затормаживает, за рулем тяжело. Вы работаете?

— Да.

— Вам нужно быстро реагировать на работе?

— Да.

— Кем вы работаете?

— Концертмейстер балета.

Тут надо сразу пояснить: «балет» по-английски произносится «бэлэ́й». «Бэлэй пианист». А есть другое слово — «бэ́лэй» — живот, «бэ́лей дэнс» — танец живота, очень популярное развлечение мужчин в вечерних заведениях, часто эти же танцовщицы работают стриптизершами. Разницу в ударениях я знала, но танец живота настолько не из моей жизни, плюс температура, что я даже не дернулась на смену ударения (в конце концов, он носитель языка, ему виднее), и с этого момента диалог у нас пошел в разных плоскостях — доктор рванул в стриптиз, а я осталась у рояля...

Я этого и не заметила — подруга потом сказала. И когда он вопрошал «стрип-дэнс?», эта приставка была столь короткой, как скрип, и голос он понизил до невозможности (а чего орать-то?), что я не обратила на нее внимания.

Итак, возвращаемся:

— Кем вы работаете?

— Бэлэй пианист.

— Бэ́лей? — Брови взлетают и замирают наверху.

— Да.

Делает большой шаг назад:

— Бэ́-лэй?!

— Да.

— Бэ́лей? Дэнс?! Вы — танцовщица?!

— Не совсем: бэ́лэй, но не дэнс. Я из этой области, но не танцую — играю.

Осторожным шепотом:

— XXX-дэнс?

Вижу одно: где-то буксует, но в чем проблема — неясно. Голова у меня разламывается, хочется уже лечь, и какая ему-то разница, что я делаю? Что, таблетка эта по-разному действует на пианистов и танцоров? Чтобы отвязаться и сократить разговор отвечаю:

— Да, что-то в этом роде.

С интересом:

— Это у вас хобби?

Мрачно, но с достоинством:

— Нет, я профессионал.

— А-а...— произносит он как-то неадекватно.— Ну тогда все равно... Вам же не нужна скорость реакции на работе?

— Как это не нужна,— обижаюсь я,— очень даже нужна, я же не для себя играю, а все время слежу за аудиторией. Если бы я была сама по себе, тогда да, а так — нет. Если я не буду держать темп или засну, что остальным-то делать?

Ненадолго зависает.

— А вы каждый день работаете?

— Да.

— Утром или вечером?!

— Весь день.

— Но не с утра же до вечера?!

— Утром немного, потом вечером немного, по-разному.

— А что, и утром, и вечером тот же вид работы?

Начинаю сердиться: ну вот какая разница? Я вообще-то утром — в колледже, вечером — в школе, но это вряд ли его может интересовать? Хочется огрызнуться, но американцы обычно идут по трафарету: вот надо ему лично найти лучшее место для принятия таблетки и посоветовать пациенту, и тут хоть умри, сопротивление бесполезно, с колеи не сойдет. Поэтому приходится терпеливо объясняться:

— Нет, работа немного разная, но по сути одно и то же,— поднимаю на него опухший глаз — нет, определенно я произвожу на него какое-то феерическое впечатление, и для закрепления успеха добавляю: — И еще я езжу по домам частным образом. (Это, конечно же, о частных учениках, он же сам сказал — водить опасно, вот я и рапортую ему о своих разъездах.)

— Ну тогда... ну тогда... Вам нужно принимать эту таблетку на ночь, но не на ночь поздно вечером, а совсем на ночь. В смысле когда совсем на ночь, спать идете когда, уже точно спать — совсем.

Та-ак... Смотрю на него долгим взглядом психиатра. Зря я все-таки без рекомендации к доктору пошла. Надо было разузнать о нем что-нибудь... Пойду, у подруги по-

спрашиваю. Хотя и он тоже прав — сама не знаю, когда спать пойду: вроде иду уже, а зацеплюсь за компьютер, так и просижу пару часов, потом пойду, увижу шитье, пошью маленько, потом дальше иду.

— Я поняла, доктор. Я поставлю пузырек рядом с подушкой, спасибо большое.

Он обрадовался, отдал мне, наконец, рецепт, я откланялась. У двери ждала подруга, и мы пошли к регистратуре заполнять бумаги, но доктор не отправился восвояси, а прочно засеменил за нами, так что рассказать ей я ничего не смогла.

Когда подошли, мне в окошке выдали бланки, подруга с доктором стояли в двух метрах, и, как только я углубилась в бумаги, он зашептал ей на ухо:

— Слушай, а кто она?

Подруга, ее хлебом не корми, дай подурачиться, а тут дичь сама в руки идет, как шуманет на весь коридор:

— Ага, интересуемся?!

Он подскакивает, машет руками, мол, я, может, просто неправильно понял, просто уточнить!

Я, не отрываясь от бумаг, через плечо бросаю ей по-русски:

— Он у вас с приветом.

— Да ладно, до сих пор был нормальный.

С плотоядной улыбкой поворачивается к нему:

— Что вас конкретно интересует?

Ему деваться уже некуда:

— Где она работает?

— Бэлэ́й.

— Бэлэ́й?! (Форте.)

— Бэлэ́й.

— Бе-лэ́й?! (Фортиссимо.)

— Ну да.

Радостно:

— Значит, она танцует в бэлэ́й?!

— Нет!

— Как?!

— Она — бэлэй-пианист.

С возвращающимся ужасом:

— А на чем она играет? На синтезаторе?

— А она на чем хошь играет — на пианино, на скрипке, на баяне, на дудке, много чего, она еще и поет! — Подруга делает в мою сторону широкий жест, я поднимаю свое опухшее гриппозно-гайморитное лицо, она, вздрогнув, машет, мол, пиши, пиши дальше, не пугай людей.

Он:

— Это что, типа фокусы?

— Какие фокусы? Видите — серьезный человек, просто болеет.

— А это типа ремень через плечо? Или как?

— Что как? Какой ремень, зачем?

— Ну как инструмент к ней крепится, когда она танцует?

Я бросаю ручку, и мы обе, не мигая, смотрим на него.

Подруга медленно:

— Вы что, имеете в виду, что она танцует и играет одновременно?

— Да.

— И как вы себе это представляете?

Неуверенно:

— Ну... танцует бэлэй, через плечо синтезатор, и она себе музыку играет.

— Ага, в пачке! — вставляюсь я радостно.

— Вы когда-нибудь видели бэлэй?

— Да,— обиделся он.

— Ну и где вы видели, чтобы танцоры играли?!

— Ну я поэтому и удивился, как это — пианист в балете?

— Она (жест в мою сторону) — играет.— Подруга правой рукой лупит три аккорда по воображаемой клавиатуре, в левой у нее большая стопка бумаг.— А танцоры — (показывает на доктора) — танцуют.— Правая рука имитирует крыло «Умирающего лебедя», но лебедь, правда, получается не умирающий, а вполне себе буйный. Доктор, застыв, смотрит на нее. Она повторяет:

— Она — играет («бьет» по роялю), а они — танцуют (опять вздымающийся правым крылом лебедь, встает на цыпочки и движется влево). Это все — отдельно! Музыка — отдельно, танец — отдельно. Но вместе.

Регистратор уже давно встала и смотрит на них в окошко.

Но даже после таких па на лице доктора не дрогнул ни один мускул, его эмоциональный резерв на сегодня был исчерпан.

Подруга:

— Ну что, опять непонятно?

— Понятно. Только я думал, что в балете танцуют под оркестр.

— Правильно! А когда оркестр не может — она играет!

— На всех этих инструментах?

— Нет. На рояле.

— Понял.

— На каждую репетицию оркестров не напасешься, поэтому играют на пианино.

— А-а,— протянул он, а когда я ушла — рванул рассказывать ей о первоначальном варианте со стриптизом.

У этой истории есть небольшой эпилог.

Продержав меня в аптеке, наконец, объявили, что лекарство не дадут — какие-то проблемы со страховкой. Стали звонить доктору. Время идет. Я помираю. Звонит подруга:

— Сидишь?

— Сижу.

— Чего там у тебя?

— Не знаю, не дают.

— Жди, доктор разговаривает, я перезвоню.

Звонит опять:

— Не дают. Возвращайся сюда.

— Зачем?

— Иди, доктор передал тебе лекарство.

Приплетаюсь. Выходит с пакетиком:

— На, пока они там разберутся — помереть можно.

— Спасибо. Сколько я должна и кому?

— Никому нисколько. У нас запас есть.

— Не, я так не могу, сколько это стоит?

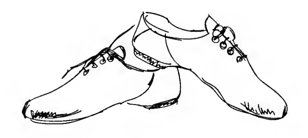
— Не возьмет.

— Иди еще раз спроси.

— Спрашивала уже.— Смеется.— Говорит — пусть она лучше мне станцует!

— Нахал!.. В каком жанре?

ЧТО ФРАНЦУЗУ ЗДОРОВО, КИТАЙЦУ СМЕРТЬ



Гамбит

Это было давным-давно, в мой первый год в Америке. Тогда я, новичок во всем и прежде всего в эмигрантской жизни, ходила на курсы английского, на которых учились люди из разных стран. Эти люди, этот Вавилон, и были основное мое окружение, пока не было ни друзей, ни работы. Ощущение того, что есть в городе хоть одно место, где тебя знают, ждут и рады тебе, очень поддерживало и помогало привыкнуть к новой жизни. К моменту той забавной истории, которую я хочу рассказать, наша учебная группа четко поделилась на две части:

противная сторона — несколько молодых китаянок, звуконемой мексиканец и три японки. Наша сторона —

имела неофициальное гордое название «Западноевропейский блок», в него входили венгр, француз, мы с русской приятельницей, мексиканка, годящаяся нам в матери, холостой китаец и тибетец.

На всякий случай поясню: в одном помещении китайцы и тибетцы находиться не могут, вспыхнет пожар, кто-то должен уйти. Когда рот открывали китаянки, нужно было все бросать и смотреть на тибетца: он опускал голову, его взгляд наливался такой черной густотой ненависти, что становилось не по себе. Он, не мигая, исподлобья смотрел на ораторшу (а вещали они только об одном — о величии достижениий современного Китая) и, поймав момент, выстреливал короткой разрушительной фразой, превращая речь выступающей в груду мусора.

Из-за стола тут же взлетали, клокоча, как стайка неврастеничных перепелок, остальные китаянки, махали руками, переходя на визг, но Нджи не менял позы. Он вообще никогда не снисходил до ответа на их прямое обращение. Иногда, занимаясь своим заданием, он что-то произносил себе под нос, а на другом конце класса вертикальным взлетом взмывали под потолок китаянки, захлебываясь от гнева. В их сторону он, разумеется, головы не поворачивал.

Он вообще был довольно необычный. Поначалу напоминал точную копию изваяния Будды — такой же каменный и бесстрастный. Но постепенно, с появлением нашей компа-

нии, он оттаивал. Разговорчивее не стал, но потеплел. На вид ему было лет эдак двадцать пять — сорок пять, поди пойми. Молчаливый, коренастый, невысокий. Мы, ученики и молодая училка, сидели за одним длинным столом; когда шел учебный диалог, Нджи переводил взгляд с одного на другого, не поворачивая головы. Переносить этот взгляд на себе было непросто. Он был очень необычный, этот тибетец.

Позже выяснилось, что он монах-расстрига. Когда было крупнейшее восстание и расстрел монахов, он, хоть уже вышел из монашества, но пошел со всеми, затем бежал с друзьями в Индию. Во время перехода через горы в живых осталось четверо, он в том числе. Как-то училка спросила, из какого он монастыря, Нджи ответил. Я не поняла ответа, но реакция китаянок была ошеломляющая: они вытаращились на него с почтительным ужасом и с тех пор перестали верещать и визжать в его присутствии и вообще здорово поутихли.

Я заметила, что на венгра ответ тоже произвел сильное впечатление, поэтому, улучив момент, подвалила к нему под бочок. Тот долго шепотом объяснял, вворачивая венгерские слова, когда не хватало английских. Единственное, что я поняла, что этот монастырь — какая-то совершенная запредельность, каста в касте, что тамошние монахи могут ходить по стенам и вообще делать ужас что. И я стала плотоядно присматриваться к монаху, очень хотелось попро-

сить его сделать что-нибудь эдакое, ну по стене пройтись, например.

Венгр был счастливый молодожен, недавно приехавший из Европы в распростертые объятия новой семьи венгерских эмигрантов, они в нем души не чаяли. Был он беспечный и заводной, и именно с его появления и началось разделение нашей группы на два клана, до него мы сидели сосредоточенные и серьезные: чинные японки с прямыми спинами, напряженные боеготовные китаянки, не реагирующие ни на какие шутки никогда, мексиканец, приходивший в класс с единственной целью — поспать, потому что на эти курсы его отпускали с работы.

Мексиканка — мать четверых взрослых сыновей, старший из которых был ей почти ровесником. Жизнь ее была вечное путешествие между сыновьями. Как-то на вопрос «Какое у вас хобби?» ответила: ездить по городам и определять, какая пицца в городе самая вкусная. Ответ произвел на меня неизгладимое впечатление. Вот бывают же хобби!

Мексиканка сначала сидела сама по себе, но потом, смекнув, что на галерке идет бурная жизнь, а мы с законопослушными лицами пытаемся превратить уроки в балаган, переползла к нам и хорошо вписалась в новую компанию. Иногда она служила щитом от училки, прикрывая нас, той неудобно было делать замечания пожилой женщине.

Последним появился француз. Он был хорош собой, буен и неполиткорректен. Он мог посреди урока внезапно что-нибудь спеть или залезть под стол, он был непредсказуем. Училка побаивалась его и, думаю, считала сумасшедшим. Его хобби была астрономия. У него дома была крупная подвижная собственноручно сделанная модель Солнечной системы, он постоянно просчитывал полеты каких-то метеоритов — ну что за хобби для француза? Француз, как и любой, совершенно всякий человек, тем более неамериканец, по мнению училки, должен был иметь одно хобби: бороться за права человека и арабов, в частности. Все ее тексты, пламенные беседы, подбор упражнений были на одну тему: она искренне пыталась поднять нас на борьбу с американским империализмом, цель которого — уничтожить арабский мир. Сама она, со своим бойфрендом-иранцем, ездила на все митинги протеста и демонстрации, которые проходили в пределах досягаемости.

В то же время она стойко пыталась исполнять свой высокий долг в деле Просвещения и Оцивилизовывания недоразвитых народов (нас в смысле). И тут-то наш клан отрывался по полной: мы, как бы с отвлеченными лицами, целенаправленно загоняли ее в угол, выводя на очередные ляпы. Мы отыгрывались за себя и «за того парня», точнее, «за ту китаянку», девицы не смели возражать Учителю, но в этом деле мы и за них, и за их многовековую культуру стояли горой. Ибо не фиг.

Например, знакомила она как-то нас с символом Мира — нарисовала на доске огромную эмблему «мерседеса», и давай вещать. Китаянки, высунув языки, старательно перерисовывали картинку в тетрадочки, а мы, переглянувшись, дали училке закончить свою версию о том, как американские хиппи выдумали пацифик, и венгр сначала тихонечко возразил, дескать, символ-то сочинили в Англии, не в Америке, а потом уже выдал и полную историю создания с подробностями, которые училке были неведомы. Она не сопротивлялась, со своим «Really?» [1], и особенный шарм ситуации добавлял здоровый круг «мерседеса» за ее спиной. Потом поправили и его.

Другой пунктик у нее был — политкорректность. Она могла бесконечно рассказывать о том, как нужно вести себя в современном обществе. Например, что страшное оскорбление женщине — это дать понять, что вы замечаете, что у нее есть внешность и пол. Это немыслимо, это запрещено и так далее, и так далее, и тут, конечно, француз своими вопросами останавливал учебный процесс, доводя ее до тихой истерики и красных щек. Она сопротивлялась, дескать, в литературе, в песнях, в странах третьего мира это, возможно, еще присутствует, а также долго будет отражаться в искусстве, но в жизни, тем более здесь, это не-

[1] В самом деле? *(Англ.)*

возможно и расценивается как оскорбление, поэтому будьте осторожны и никогда не делайте подобных ошибок, тем более имея в виду конкретную женщину.

Француз преданно и благодарно кивал и, когда уже успокоенная училка расслаблялась, спрашивал:

— То есть я правильно понял, что нельзя сказать Петре или при Петре, что она красивая?

Поднимался гвалт, училка выходила из берегов, объясняя и параллельно успокаивая Петру, чтобы та не обижалась и требовала публичных извинений от француза. Он их тут же охотно приносил, заверяя, что никакая она не красивая, а толстая, противная и еще cross-eyed.

— Что это — cross-eyed?

И добрые однокашники, немедленно на все лады вытянув шеи, радостно изображали косоглазие.

— Сам ты cross-eyed!

— Да,— кивал довольный француз,— а еще у нее одна нога короче другой!

Еще в нашей компании был молодой китаец. У него была заветная мечта — познакомиться с китайской девушкой. Вы удивитесь — в чем же проблема? Неужто китайских девушек мало? Много. Но китайцы у нас разные: те, из Китая, приехавшие учиться в университете, и эти, с американским гражданством. Университетским нельзя близко подходить к местным. Одноклассницы-китаянки не разговаривали с

этим парнем, они вообще были очень зашоренные и опасливо поглядывали на бывшего соотечественника. Он сначала чувствовал себя неловко, но постепенно прижился под ласковым крылышком «Западноевропейского блока», и, что характерно, бывший монах не держал его за китайца.

Японки, как и китаянки, держались в связке, по отдельности я их не видела. Уже потом, закончив курсы, я узнала их поближе, но во время учебы они сливались в одно вежливо улыбающееся целое. Они деликатно кивали в ответ на абсолютно все, а в моменты нашего буйства начинали оживленно лопотать между собой на японском, чем только усиливали общий галдеж.

Кроме постоянных посетителей в нашем классе появлялись-исчезали эпизодические. О многих из одноклассников тех лет можно писать новеллы, истории эмигрантов неординарны, насыщенны, не похожи одна на другую, но так мы никогда не доберемся до финала. Впрочем, на одном персонаже я все-таки ненадолго остановлюсь.

История монаха

На занятиях мы все время делали сообщения о традициях или культуре своих стран, что очень интересно, по-

тому что одно дело — прочесть об этом в книге и совсем другое — послушать, что рассказывает абориген. Каждый рассказ нес на себе печать собственного отношения и был окрашен нежной краской ностальгии.

Девушки чаще готовились обстоятельно — с фотографиями, плакатами, если дома было что-то, что можно принести-показать, обязательно приносили. Любили рассказывать о традиционной кухне, о легендах, о костюмах, об архитектуре, китаянки демонстрировали сложные прически, калейдоскоп сообщений был очень разнообразен. Я, чтобы избежать долгой речи на английском, который был слаб, устроила урок танцев и научила дружную братию танцевать кадриль. Доклады мужчин были короче, они брали не формой, а содержанием. Как-то тибетцу досталась тема — рассказать о традиционных свадьбах или форме брака. Его лаконичный рассказ произвел неизгладимое впечатление на аудиторию, и мы потом не раз к нему возвращались, пытаясь раздобыть новые детали.

Итак, Нджи доложил нам, что традиционная модель семьи, которая к нынешним временам давно уже отмерла, хотя в далеких горных селах, может, еще кое-где держится,— многомужие. Женщина выходит замуж за всех братьев семьи, переезжая в их дом. Если в доме есть маленькие братья, то они ждут поры совершеннолетия и то-

же вступают с ней в брак. Невесту подбирают старшему, но под всех братьев. Чем больше в семье сыновей, тем привлекательнее для невест дом. Такая модель была удобна тем, что, оставляя наследство, не нужно делить хозяйство, и с годами оно, по идее, должно расти и шириться.

На этом Нджи закончил свою речь и просил задавать вопросы, если вдруг непонятно.

У китаянок к нему вопросов, разумеется, не было, а мы, переварив, точнее, не переварив услышанное, начали. Первым выступил француз:

— А как же решается проблема, когда кому спать с женой?

Нджи не понял вопроса. Ему на разные лады разъяснили, он удивился:

— Здесь нет никакой проблемы, это решается внутри семьи.

Француз обиделся:

— А другие что, ждут? Расписание, что ли?

— Это по-разному, может, и так, или, кого она позовет, тот и идет.

Девушки оживились.

— А если одного она все время не зовет и не зовет? — забеспокоился за далекого тибетского мужа француз.

— Значит, ему нужно постараться, чтобы заслужить ее внимание.

Француз присвистнул.

— А чьи, простите, считаются дети? — поднял руку венгр-молодожен.

— Как чьи? Всех. В некоторых селах считалось — старшего брата, он глава семьи.

— И тебе неинтересно знать, который из сыновей — твой?

— Все мои.

Мужская часть класса загудела.

— Это неважно,— невозмутимо продолжал Нджи,— эти дети принадлежат одному роду, и, если кто-то из отцов погибнет, другие будут кормить всех детей как своих, а для матери и так неважно, кто отец ее ребенка, она будет заботиться обо всех одинаково.

— А как насчет ревности? Братья не ревнуют, не ссорятся? — не унимался француз.

— Как они могут ревновать, если это их всех жена?

— Ну прям совсем?

— Совсем. Наверное.

— Ну вот тебе совсем-совсем радостно было бы смотреть, как брат идет с твоей женой в спальню?!

— Так это и его жена тоже.

— То есть тебе дела нет?

— Нет.

— У тебя сколько братьев?

— Нисколько. Я один.

— А если сосед косо посмотрит на твою жену, тебе тоже дела нет?

— Как это посмотрит?

— А вот так! — И француз изобразил вызывающий страстно-испепеляющий взгляд и помотал бровями.

— Нет. Сосед так не посмотрит. Его убить могут.

— А-а!!! — завопил класс, довольный, что ревность существует и в Тибете, и значит, если Шекспир покопался бы там повнимательнее, то все бы там нашлось. Все как у людей.

Но меня беспокоил другой вопрос:

— А что, если жене не захочется исполнять супружеские обязанности с каким-то из мужей?

— Как это не захочется? — удивился Нджи, ход европейской мысли опять ставил его в тупик.— Как не захочется? Это ее обязанность.

Девушки наперебой начали объяснять:

— А так вот и не захочется!

— Ну не нравится один, хоть режь!

— Ну не может она с ним идти, со всеми без проблем, а с этим — ну никак!

Француз и венгр в один голос, радостно:

— А это уже ее проблемы!

Девицы загалдели, начался базар стенка на стенку, который клубился бы еще долго, но смолк в одно мгновение, разбившись о тихий голос Нджи:

— Нет. Это как раз — его проблема. Его большая проблема.

Мы затихли. И он поведал нам грустную историю о том, что если случится, что одного мужа жена невзлюбит так, что превозмочь уже никак, то начинается черная полоса в жизни мужчины.

Сначала, когда неприязнь еще не озвучена официально, он просто будет стараться изо всех сил, чтобы заслужить ее расположение, но если и это не приводит к нужному результату, то в игру вступает последняя карта: к женщине на поклон приходит свекровь.

Она будет просить и обещать, лишь бы сыну было позволено остаться. Женщина, безгранично уважая возраст свекрови, может принять ее просьбу и оставить мужчину в доме.

В этом месте класс замер... Как изменился мир!

Тишину нарушил француз, как наименее сочувствующий тибетской модели семьи:

— И что будет, если она скажет «нет»?

— Тогда ему нужно уйти. Пути у него два — в монастырь или в наемные работники, жить при каком-то доме и работать за еду и кров.

Мы опять немножко пошумели. В разных концах земли заикали далекие свекрови. Мне определенно нравился тибетский вариант:

— Скажи, а мужчина может помогать женщине по дому или это считается только женской работой?

Он не понял вопроса. Но я не унималась и настойчиво пыталась выяснить — кто в доме моет посуду на такую прорву людей?

Оказалось, что домашние обязанности тибетской женщины мало отличались от европейских, исключалось только одно — женщина не могла работать на земле, сельскохозяйственные работы выполняли мужья.

— Ну а там, обед приготовить или посуду помыть мужчина может?

— Но он же занят делами вне дома.

— Хорошо, а если, предположим, снаружи все сделано, он может помыть посуду или подмести пол, или он не станет этого делать ни при каких обстоятельствах, как, например, у мусульман?

— А-а... конечно, может, почему нет? Если он освободился, то будет выполнять любую работу внутри дома, если нужна его помощь.

— Скажи, Нджи...— вдруг задумчиво подала голос училка, сидевшая среди учеников.— А как ты стал монахом?..

Он улыбнулся:

— Родители отдали меня в монастырь, когда я был подростком. Это большая честь для семьи, если кто-то из де-

тей станет монахом. Обычно отдают девочек, но у меня нет сестер. Я один у моих родителей.

— А как быть остальным женщинам?

— Каким остальным?

— Ну тем, которые не выйдут замуж.

— Что значит не выйдут? Которые не хотят замуж — становятся монахинями.

— Нет, которые не хотят в монахини.

— Тогда идут замуж.

— Так на всех мужей не хватит!

— Как не хватит? Это женщин не хватает, мужчин всегда больше.

— О, а в Европе наоборот.

Нджи вздохнул — там хорошо, где нас нет.

— Как же быть тем, кому не хватит семей-братьев?

Он опять не понял, ему опять объясняли, наконец, он заулыбался:

— Вы хотите сказать, что какой-то женщине может не хватить мужчины?

— Да!

— Такого быть не может: если женщина хочет выйти замуж, она всегда найдет за кого, остаться одному — проблема мужская. Она может позвать одного из младших братьев, и они будут жить сами, но в деревнях, на земле, так не проживешь, нужно много мужей.

И мы опять возражали и опять много говорили...

Так проходили наши занятия-путешествия к далеким берегам. Студенты приносили диковинные вещи, хранящие память предков. Каждый бережно нес свой рассказ, как драгоценную воду в пригоршнях, боясь расплескать, пытаясь передать свое трепетное отношение к тому своему далекому непохожему, чего больше нигде не встретишь...

...а он потом все-таки сказал нам, почему вышел из монашества. При китаянках, видимо, не хотел и всегда уходил от ответа, хотя мы делали несколько заходов. Но как-то в малом кругу мы мусолили задание, и зашла речь о том, что, прежде чем вернуться в мир, монаху назначается испытательный срок: проверяют на прочность его решение. Если этот путь пройден, и отговорить не удается, то его без препятствий отпускают. Но на семью ложится тень позора.

— А почему ты все-таки решил уйти? — тихо спросили его в очередной раз.

Он замолчал. Нам стало неловко: вот пристали, бестактные, видно же, что не хочет говорить, все, больше не спросим. И вдруг:

— Я хотел быть с женщиной.

— С конкретной? Ты был влюблен?!

Он дернулся, взгляд стал черным:

— Нет. Этого не могло быть.

— А когда ты встретил свою жену?

— Гораздо позже, в Индии, мы работали в одном университете, а потом переехали сюда.

— А ты никогда не жалел о том, что сделал? — ляпнула я.

— Моим родителям было очень тяжело.

— Ты никогда не жалел?

Он медленно поднял глаза и посмотрел в упор:

— Нет. Нет ничего лучше, чем быть с женщиной.

Французские сосиски

Каждый учебный день был похож один на другой: сорок пять минут занятие, пятнадцать минут перерыв и опять сорок пять минут. Нельзя сказать, что сам урок был совсем уж заформализован, но мы все-таки занимались каким-то делом и шли по заданной училкой колее. А перерыв первоначально был задуман как время неформального общения, предполагалось, что мы будем применять полученные знания в свободном полете.

Японки уходили сразу и отдыхали от нас на японском. Китаянки, как более дисциплинированные, находились в классе, но шушукались тоже на своем. «Западноевропейский блок», таким образом, беспрепятственно принадлежал сам себе и мог потрындеть о чем хочешь.

Но училка быстро учуяла своим политкорректным носом, что в нашем объединении есть что-то неправильное, и поспешила вмешаться и употребить наше свободное время на пользу (на нашу пользу, естественно). Она реши-

ла поучить нас «Искусству общения в обществе», оно же Social Skills, оно же Small Talk.

Small Talk — это предельно выхолощенный разговор ни о чем на определенные темы, которые изначально исключают конфликтность, спорность, а часто также интерес и смысл. Суть смол-тока — передержать определенное время большое количество народа на маленькой площади так, чтобы все было мило и гладко, не вспыхнуло никаких размолвок, и чтобы в конце вечеринки все с легкой душой разошлись. Круг тем, вопросов и ответов выверен и отшлифован годами. Основное искусство — держать лицо.

Вы спросите: а что, по-человечески и поговорить уже нельзя? Можно. Но для этого есть узкий круг друзей. Таким образом, училка лишила нас возможности поболтать в узком кругу друзей, заставляя играть по правилам смол-тока, и нам пришлось со взаимно покислевшими минами болтать о всякой всячине, при этом она сидела с нами, вежливым цербером направляя и корректируя беседу.

Одна из главных тем смол-тока, я бы сказала, основополагающая,— о еде. Кто что ел. И вкусно ли это было. Варианты — вкусно, очень вкусно, рилли вкусно. Если было невкусно, то упоминать не надо.

Когда в классе появился француз, мы по кругу отвечали на вопрос, как прошли наши выходные. Отвечать нужно

было в определенной глагольной форме, пару предложений. Когда очередь дошла до него, он ответил:

— В субботу мы ходили на большую вечеринку к друзьям.

Этого было мало, училка направила:

— Вам понравилось на вечеринке?

— Да.

— Что вы там ели?

Француз подумал, что не понял, и на всякий случай переспросил.

— Что вы там ели? — чеканно повторила училка.

Он опешил. Бросил вопросительный взгляд назад и растерянно повернулся обратно. Училка опять пришла на помощь:

— Там было много разной еды, не так ли?

— Да,— кивнул смутившийся француз, он не понимал, в чем подвох.

— Что вы там ели?

— Ел?!.. В смысле...— он изобразил быстрые движения ложкой.

— Да.

— Ох... да не помню... какая разница... что-то ел...

— Это было вкусно?

Потерявший точку опоры француз пополз взглядом по лицам одноклассников, но первыми сидели фарфоровые китаянки, затем спавший мертвецким сном мексиканец, и,

наконец, его взгляд уперся в меня. Я медленно кивнула, мол, все нормально, брат, у них всегда так. Он быстро обернулся и ответил:

— Да, это было съедобно.

Во время перерывов гастрономическо-погодная тема была у нас основной. Мы, конечно, удирали, как могли, но оставлять класс пустым было неловко, поэтому либо училка кого-нибудь в упор останавливала, либо мы сами поддерживали вялое присутствие. Так, ни шатко ни валко, мы отсиживали свою повинность по «непринужденной беседе», но неожиданно одна из китаянок забеременела, и у нас появилась общая тема для разговоров. У всех в классе, кроме молодых китаянок и училки, были дети, поэтому мы искренне расспрашивали ее о здоровье и что она ест. Однажды она пожаловалась, что никак не может привыкнуть в Америке к тому, что приходится есть мясо коровы, забитой «не сегодня». Она плакалась, что долго вообще не могла есть тут мясо, но постепенно приучает себя понемножку, и это ужасно, ужасно! Она мучилась и хотела домой, в деревню. С наступлением беременности наши внутригрупповые отношения с Китаем несколько потеплели, мы ее жалели. Она тоже помягчела. Подруги стали ее сторониться, как будто она выкинула что-то вздорное, да и не понимали они ничего в этом деле.

Дни шли за днями, и однажды мексиканка осторожно спросила:

— Скажи... а почему ты так сильно прибавляешь в весе? Что доктор говорит?

Это была правда — разнесло нашу девицу со страшной силой.

— Не знаю, а что, не должно?

— Ну должно... но не так.

Училка тут же закудахтала, что девочка выглядит прекрасно, что всё совершенно в норме, что доктор бы непременно так и сказал, начала делать пассы руками и таращить глаза, давая мексиканке понять, что та переходит границы приличий, но мексиканка строго подняла руку, как бы отстраняя ее, мол, политес — в другой раз. От неожиданности училка села.

— Что ты ешь? Ты отекаешь?

— Не знаю,— заканючила девчонка,— ем как всегда, как доктор говорит.

— Расскажи, что ты ешь.

И китаянка, шмыгая носом, начала перечислять все, что она ест. Мы, сдвинув брови, внимательно слушали (класс мгновенно превратился в научный консилиум, на каждом появилась незримая белая шапочка, на девочке — линялый халатик). Она детально перечисляла все, что ест и где покупает, училка автоматически поправляла произношение, мексиканка мерно кивала. Ничего криминального в ее рационе не было.

— Это все?

— Из еды — все.

Мексиканка насторожилась:

— А не из еды?

— Только то, что доктор прописал.

— Витамины?

— Витамины тоже.

— А что еще?

— Peanut Butter, банку за пару дней.

— Что?! — заорал класс.— Банку?!

Peanut Butter — это арахисовое масло, калорий — на месяц вперед, даже больше. Считается, что оно придает энергию. Выглядит как вареная сгущенка, только не сладкая, поэтому его мажут на хлеб, а сверху заливают вареньем. Мы поняли, что произошло какое-то недоразумение, поэтому потребовали подробностей.

И она рассказала, как пожаловалась врачу, что есть ничего не может, особенно по утрам, хочет спать, и плакать, и домой, на что доктор посоветовал есть что-нибудь сладенькое, но наша китаянка, оказывается, с детства не ест ничего сладкого, а теперь и вовсе не может. Доктор начал перебирать соблазнительные сладости, она отвергла все. Наконец он воскликнул:

— Что, и Peanut Butter не любите? Не может быть! Его все любят! Вы должны, должны есть что-нибудь сладкое,

ребенку это необходимо для формирования, к тому же там много белка!

Далее следовали рыдания о том, что это невозможно есть и что это совершенно насъедобно (тут мы согласны). И главное — абсолютно не сладко!

— Так его же не едят просто так! На него кладут желе! — испугалась училка..

— Желе? — вытаращила глаза китаянка.— Еще и желе? Я не смогу! Я и так рыдаю каждый раз и терплю только изза ребенка.

Мы со всех сторон начали объяснять ей, что, во-первых, доктору и в башку не могло прийти, что она станет столько этого масла есть, а во-вторых, американских врачей вообще слушать не надо.

— А кого надо слушать?

— Нас!

Удивительно, но она сразу это приняла. Особенно мексиканку. Та методично рассказывала ей, что нужно кушать, но мы опять уперлись в мясо.

— Вот вырастет твой мачо,— уговаривала она ее,— будет профессором в университете, тогда пусть становится вегетарианцем сколько хочет, а сейчас нельзя! Детям нужно мясо, чтобы голова работала.— И она постучала себя кулаком по лбу, чтобы до беременной наверняка дошло, для чего нужно мясо. Та опять начала охать.

— Слушай,— предложил венгр,— ну ешь тогда колбасу. Или ветчину? Уверен, даже в Китае колбаса сделана не в тот же день, когда ее едят.

Мы единодушно одобрили это гениальное предложение, сошлись на том, что она будет делать себе на завтрак большой бутерброд, и разрешили ей выкинуть арахисовое масло.

Училка попыталась втолковать китаянке, что та не может так радикально менять свой режим и должна получить согласие доктора, но ее авторитет уже был ничто по сравнению с авторитетом нашего консилиума. Училка пригрозила, мол, если что — пусть пеняет на себя. Мы неодобрительно загудели.

Прошло несколько дней, скажем неделя.

Китаянка в весе не сбавила, но скисла.

Спросили — как здоровье, что ест, как настроение, как ветчина по утрам?

Она чуть-чуть похорохорилась, но потом созналась, что все плохо. Мы расстроились — ну что, совсем?

— Не совсем, но замерзшее масло на ветчине тяжело дается.

— А почему замерзшее?

— За ночь замерзает.

— А что делает масло ночью на ветчине?!

Китаянка на полном серьезе — а они, похоже, вообще никогда не шутят — объяснила, что бутерброд она себе де-

лает с вечера, заворачивает в пленку и кладет в холодильник, потому что утром у нее не хватает времени его делать. (Замечу: она не работает и не учится, а курсы пару раз в неделю и начинаются эдак в час.)

— А что там вообще делать? Минута!

— Какая же минута? Надо хлеб порезать.

— Это полминуты, купи порезанный!

— Ветчину порезать.

— Два куска?! Купи порезанную!

— Лист салата помыть.

— Помой с вечера.

— Маслом намазать, это никак не минута! Я очень медленная по утрам, к тому же, как начинаю все это резать, сразу вспоминаю маму и нормальную еду, и хочу домой, и начинаю плакать. А когда утром поревешь — весь день такой.

М-да... мы молча смотрели на нее.

— Когда я готовила завтрак, на всю семью,— заметила мексиканка,— я одновременно еще делала кучу дел. И точно никогда не плакала над ветчиной. У меня не было ветчины. А была бы — я над ней не плакала бы.

— Но у вас, наверное, было нормальное мясо!

— Совсем не каждый день.

Китаянка поняла, что она опять отдаляется от нас в туман глухого непонимания, и упавшим голосом прибавила:

— Я не могу есть холодное мясо... или ветчину, какая разница...

Француз пробурчал что-то по-французски (судя по интонации, выругался) и предложил:

— Есть идея. Делай на завтрак сосиски. Это очень быстро, это типа мяса, и оно не холодное.

Мы одобрительно загудели. Против сосисок никто ничего не имел.

Китаянка высморкалась и попросила научить ее покупать и делать сосиски на завтрак.

Рассказав и показав на пальцах все, что могли, объяснив, где это купить, мы приступили:

— С утра, как встаешь, наливаешь в кастрюльку воды...

— В какую?

— В самую маленькую, чтобы две сосиски влезли, наливаешь воды...

— Сколько?

— Немного, половинку...

Перебивают:

— Нет, не так, проще наоборот: кладешь две сосиски и заливаешь водой...

— На два пальца воды.

— Это много, на один!

Китаянка начинает испуганно моргать:

— Так как же правильно?

Начинаем шуметь, в сосисках каждый спец.

— Стоп! — останавливает мексиканка.— Так мы ее запутаем, надо, чтобы объяснял кто-то один. Это его идея,— показывает на француза,— ты и говори!

Довольный француз откинул прядь со лба и со знанием дела начал:

— Приготовление этого блюда совершенно не займет у тебя времени и не напомнит о маме. Кстати... а воспоминания о муже у тебя не вызывают негативных эмоций?..

— Говорите, пожалуйста, по существу, придерживайтесь рецепта! — занервничала училка.

— А я по существу! Я же для беременной рассказываю, видите, какое у нее эмоциональное воображение, я должен это учитывать.

— Нет, пусть девушки рассказывают, они это лучше сделают.

— Нет, пусть он, пусть он! Он лучше знает, это традиционная французская кухня!

— Мерси,— кивает в нашу сторону француз и продолжает: — Как только утром встаешь...— делает многозначительную паузу, выжидая, последует ли что-нибудь от училки, но нет, та терпит,— иди сразу на кухню. Кастрюльку достань с вечера, пусть стоит наготове...— опять строгая пауза.— Утром наливаешь воду в кастрюльку...

— Подождите, я запишу.

— Записывай. Налить воду в кастрюльку...

— Сколько?

— Какая кастрюлька?

— Такая. (Показывает руками.)

— Вот досюда. (Показывает.) Достаешь из холодильника две сосиски, бросаешь в воду и, пока они готовятся, идешь в душ. Как долго ты принимаешь душ?

— Минут пять.

— Отлично. Если будешь десять, то воды — в два раза больше.

— Спасибо большое,— пропищала китаянка.

— Вы уверены, что это нормальный завтрак для беременной женщины? — вставилась училка.

— Да. Овощи она будет есть в течение дня,— отрезал француз голосом главврача.

Проходит несколько занятий...

Спрашиваем — как завтраки, как сосиски. Испуганно благодарит, говорит, что все нормально, старается привыкнуть, ест.

Посоветовали ей менять сорта сосисок. Училка посоветовала посоветоваться с врачом.

Проходит еще несколько занятий. Спрашиваем — как?

Сначала говорит, что ничего, но видно — что-то не так. Начинаем нажимать, чтобы добраться до истины, и, наконец, начинаются всхлипывания и традиционное: «Это ужасно, ужасно!» — и совершенно невкусно, и надоело каждый день, но, разуверившись в американском докторе, она твердо решила следовать нашему совету, этим и держится, каждое утро начиная с двух сосисок.

— Ну не знаем...— Вот зря связались, ей не угодишь! — А ты что, никакие не можешь?

— Да все они одинаковые, не могу я есть холодные сосиски!

— Почему холодные-то? Ты ешь их сразу.

— Они всегда холодные!

— Как они могут быть холодными, если они только что кипели?

— Как кипели, почему?

— Так пока ты в душе — они должны были кипеть. Китаянка подпрыгнула на месте и взвизгнула на француза:

— Их что, нужно было варить?!

— Конечно... А ты что делала?

— Вы не говорили — варить! Вы сказали залить водой и идти в душ! Я не ставила их на огонь!

— Но как они тогда должны были «готовиться»?

— А я не знаю! Я думала, они впитывают воду и становятся готовыми для еды!

— Ты что, ела сырые сосиски?!

— А это что, вредно?! — Она выкатила глаза.— А для ребенка это вредно?!

Начался галдеж (разбудили мексиканца). Мы оправдывались, что нам и в голову не могло прийти, что она может не поставить кастрюльку на огонь, она кричала, что у нее все

записано, вот, посмотрите, где тут «поставить на огонь»?! Училка долдонила, что нужно слушать врача, а не одноклассников, надо срочно бежать на прием, неизвестно, какие еще необратимые изменения произошли в беременном организме; китаянка выла, мы орали, что ничего беременному организму от сырых сосисок не будет, что это даже полезнее, и, пока сосиски мокли в воде, из них выходили все пестициды, и моченые сосиски к тому же быстрее перевариваются.

— Так что, какие мне теперь есть — горячие или холодные?

Наступила тишина.

— Ну теперь... наверное, попробуй горячие... раз холодные надоели.

— Конечно, надоели! А не можете меня чему-нибудь другому научить, но чтобы быстрое — на завтрак!

— Попробуй яичницу или омлет...

— Это как?

— Ты что, и яичницу не умеешь готовить?!

— Нет,— ответила китаянка и послушно открыла свой блокнотик,— рассказывайте, только, пожалуйста, подробно, я все должна записать.

Повисло гробовое молчание... Добровольцев не было. Учить беременную китаянку готовить европейскую еду нас теперь можно было заставить только под дулом пистолета. Она медленно обвела взглядом класс и остановилась на бедном французе:

— Ну?.. Какую кастрюльку нужно взять?

Тот испуганно дернулся и шепнул мне:

— Слушай, их там миллиард!

— Ну так как?

— Я не знаю,— заерзал он,— точнее, не знаю, как объяснить... это по сравнению с сосиками Rocket Science[1]... Спроси у девушек.

Но мы тоже отшатнулись, свят-свят! Училка, поджав губы, мол, вот так всегда — вы натворите, а разгребать — мне, перевела внимание на себя и пообещала к следующему уроку принести распечатанный рецепт, за что получила слова благодарности от китаянки, а еще больше от нас. И в классе надолго воцарилось молчаливое равновесие.

---

[1] Работа, требующая незаурядных интеллектуальных усилий *(англ.)*.

КАК МЫ С МАТУШКОЙ ХОДИЛИ НА ОТЧЕТНЫЙ



Наша контора давала большой отчетный. Проставлялись все отделения: модерн, степ, джаз, национальные всякие, современный танец и классическое, конечно. И мы с матушкой торжественно пошли...

Но для начала нужно предупредить о двух вещах: Здесь всё не так. Иначе. Другое полушарие. Даже вода в воронку в другую сторону закручивается, а нота «до» называется «си», что уж об укладе жизни говорить... Когда я впервые ходила на концерт школьного симфонического оркестра, где играл девятилетний сын моих друзей, они меня долго готовили и в красках рассказывали. Я их, конечно, заранее заверила, что я совершенно лояльный музыкант, а не какая там злобная самка, критиковать не буду, насмешничать тоже, и вообще я в восторге от того, что простая об-

щеобразовательная школа имеет пару оркестров и хор, и все дети идут туда по своему желанию. Они обещали занять мне место, а я — постараться не опоздать...

Войдя в набитый зал, я страшно обрадовалась, что концерт еще не начался, оркестр вполшколы разыгрывался прямо на сцене, некоторые зрители еще сновали. Друзья мне помахали, я прошла к ним, села и начала бурно здороваться. Они, сдерживая хохот, зашипели:

— Чего ты орешь? Они уже играют!

И тут у меня случился натуральный шок. Причем я знала, что они ждали моей реакции, но совладать с собой не смогла... Эти, с позволения сказать, друзья укатывались, зарываясь носами в коленки, а я даже не могла подобрать упавшей челюсти. Точка опоры медленно, но неумолимо уплывала...

Попыталась выйти из оцепенения и сфокусироваться на сцене: дирижер — в цветастой юбочке и с распущенными волосами до пояса. Оркестранты — кто в чем — в шортах, во вьетнамках, в футболках, в рубахах навыпуск, корейцы — в галстуках и в глаженых брюках. Серьезен был только дирижер, остальные не напрягались, все играли как могли. Могли не все. Со стороны это выглядело так, будто людям дали минут пять на разыграться, и они быстренько повторяли свои трудные места, включая дирижера.

Из шока меня вывел ехидный шепот:

— Это Моцарт, не узнаешь?

Я стала беспомощно разводить руками:

— Но... но у них даже тональность плохо просматривается...

Друзья сорвались:

— А говорила — цыкать не будешь!

— Тональность ей подавай!

— А обещала — в восторге!

В общем, глумились, как могли.

Со временем я попривыкла к принципу такого образования: главное, чтобы ребенок занимался тем, что ему нравится, насильно никого не выучишь; никакого отсева и негатива, чтобы не образовалось ненужных комплексов и обид на что-то нереализованное в детстве, и тучи этих необиженных детей занимаются музыкой, балетом, спортом, всем на свете — в свое удовольствие и для расширения кругозора.

К нашему колледжу это тоже относится: в классах занимаются не только те девочки, которые идут на «танцевальный» диплом, но и все остальные, например те, кто когда-то занимался балетом в разных студиях, или студентки, у которых основной диплом не классика, а другой танец (все обязаны пройти через станок), или те, кто учится на другие специальности. К тому добавим, что все студенты колледжа обязаны заниматься в любой спортивной секции, а также брать уроки любого вида танца, и те прелестницы, которые выбирают балет (в девятнадцать лет), добавляют массу пикантного в общую картину. Конечно, классы де-

лятся по уровням, но суть от этого не меняется. Поэтому, когда грядет какой-нибудь концерт, то педагог всех вопрошает: «Кто хочет участвовать?» — и нет им отсева...

К тому моменту, когда мы с мамой пошли смотреть отчетный концерт, моя нервная система была вполне адаптирована, бурных эмоций и риторических вопросов почти не возникало, но, зная реакцию любого музыканта-земляка, я маман предупредила и подготовила основательно, хотя и понимала, что к такому подготовить нельзя, это надо пережить.

И второе маленькое предисловие: мама моя имеет два образования — хореографическое и музыкальное, преподавала танец и ритмику, но основное дело жизни — педагог-музыкант, все ее постановки проходили на высоком профессиональном уровне. И вот ее-то мне предстояло вести на отчетный...

Дорога была нелегкой. Маман шла напряженно и сосредоточенно, воинственно развернув все боевые знамена. Она готовилась к разгрому американской балетной школы и битве за честь русского балета, причем предполагаемый ответчик противной стороны был один — я (что, конечно, не было справедливо, но, кто когда-нибудь участвовал в идеологических спорах со своими мамами, знает, что о справедливости здесь речи-то не идет, нужен мальчик для битья, а на эту роль больше никого не предвиделось).

Что было первыми номерами, не помню уже, но добрались, наконец, до классики.

Давали большой фрагмент «Дон Кихота». Балетных в нашей округе очень много, поэтому и в зале их было немало, и перед классикой публика маленько подсобралась, ибо понятно — всякие там модерновые манцы закончились, сейчас нас будут учить жизни..

Итак, гаснет свет, последние шепотки и прокашливания, все звуки зала медленно стекаются вниз, к черной точке тишины, и как всегда — «вдруг» — темнота стремительно взрывается светом и музыкой, занавес — прочь, и золото софитов мгновенно перемешивается с красно-черным буйством костюмов — ах! — огромный кордебалет замер, как натянутая тетива, впереди четыре солистки и наша прима — ах!

Лирическое отступление

Вот неблагодарное это дело — описывать зрелищное искусство. Изводишь кучу слов, а эффект все равно не тот. Даже это «ах!» приходится самой же и произносить. Ну, там, цвет сцены, всплеск занавеса, музыку — еще куда ни шло, но как быстро воспроизвести словом то предвкушение чего-то нового и удивительного, хотя ты видел это много раз? Когда ты прекрасно знаешь, что сейчас будет, но не знаешь, что увидишь? А самая главная и упоительная иллюзия — что на данный момент ты тоже часть этого? Как воссоздать это мгновение длинными словами?

Ладно, вернемся тогда к зрительным образам, а именно к солистке. Не описать ее я не могу, иначе вы возьмете и

представите себе какую-нибудь среднестатистическую выпускницу хореографического училища, а это неправильно.

По внешности, телосложению и жаропышущему эффекту она была очень похожа на Федосееву-Шукшину. Только сделайте небольшую скидку на возраст и род занятий. Повторяю: небольшую. Размер груди, пожалуй, четвертый. Когда я впервые увидела ее в классе, то опешила — а как же ее поднимать-то будут?.. Мысленно пыталась просчитать, кто из присутствующих мальчиков сможет это сделать... Картинка не выстраивалась — падал любой. Причем навзничь. Потом оказалось, что она легка и изящна, но это было потом.

А теперь от лирического отступления быстро возвращаемся обратно и еще раз все сначала: слева строгая мама, впереди свет, Минкус, занавес — в потолок, и по центру, окруженная яркими подругами, гордо стоит Тейфи во всем своем великолепии. Я холодею...

Конечно, будь я тогда в свободном полете, все показалось бы проще и радостнее, потому что взяли они с места в карьер очень лихо и танцевали с таким бешеным удовольствием, что то, ЧТО от них исходило, было гораздо важнее того, КАК они это делали. Но и это вряд ли могло смягчить критика слева.

Совершенно неожиданно немедленной расправы не последовало. Странно. Но расслабляться рано, делаю вид,

что полностью поглощена зрелищем, хотя внутри давно уже пружиню на всех четырех лапах, как кошка, готовая к прыжку. Сейчас начнется... Сейчас начнется...

Вот, начинается...

Ничего не понимаю — пауза перевалила за все разумные пределы.

Наконец, мама подает признаки жизни:

— Но... они все делают правильно...

— В каком смысле?

— Ну... это все можно упростить... а они все вытанцовывают... зачем?!.. это можно упростить... и это...

— А мы не ищем легких путей в искусстве!

— Но это... зачем они все вытанцовывают?.. и это... можно же...

И так в трансе по кругу, сама с собой, в непересказываемой форме. Моего участия в процессе не требуется. Наконец, среди риторического блуждания прорисовывается конкретный вопрос:

— А эта девочка откуда?

— Биохимия.

— А эта?

— Психология.

— А эта?

— Political Science.

— Что это?

— Государством управлять будет.

Матушка вдумчиво сосредотачивается на сцене: мысленно ставит Слиску на пуанты. Не мешаю. Но, посидев немного и оживившись от того, что разгром, похоже, отменяется, угодливо наклоняюсь к ее уху:

— А эта,— показываю глазами,— профессионалка.

— Вижу! — жестко отшивает маман.

Всё. Совсем не мешаю.

И с этой минуты, убедившись, что русскому балету здесь ничего не угрожает, она совершенно успокоилась и немедленно занялась решением другой проблемы:

— Так. А почему зал молчит?

— А... что надо делать?

— Как что?! А где аплодисменты? После восьмого фуэте должны хлопать.

— Ну... ну, может, не знают или...

— Что значит — не знают?! Это же балетная публика — всё знают.

— Ну, может, снобы.

— Что значит — снобы?! Ты хочешь сказать, что, если всех тут сейчас поднять, они по восемь фуэте сделают?! (Я тихо порадовалась, что матушка английского не знает и нас пронесло с фуэте.)

— Это же ни в какие ворота не лезет — они такие вещи вытанцовывают, «Дон Кихот», не что-нибудь вам, а все сидят как на похоронах! Это не дело! — И, поймав нужный момент, она бросается аплодировать и кричать «Браво!» —

одним словом буйствовать. На нас тут же поворачиваются головы и начинают приподнимать брови. Оно, конечно, не по себе, но не оставлю же я ее одну? И, коротко выдохнув, тоже начинаю куролесить и вопить «Браво!».

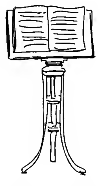
Буйствовать оказалось совсем несложно. Как раз наоборот — от танцующих шла такая заражающая волна восторга, что сидеть букой было гораздо неестественнее, может, поэтому зал почти сразу вышел из своего молчаливого созерцания и присоединился к общему веселью (да, пожалуй, и на восемь фуэте раскрутить публику было бы уже нетрудно, да под «Испанский»! «Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали» — это про тот вечер).

В антракте мы подошли к педагогу, матушка наговорила ей массу комплиментов, и та, поначалу напряженная, заулыбалась. Мы заговорили о студентках, о постановке, обо всем, а в конце педагог заметила, что публика сегодня была на редкость доброжелательная и легкая на подъем. Мы с матушкой «хмыкнули в усы» и ничего не ответили. Словом, все стороны были совершенно довольны.

Домой шли в роскошном настроении.

— Все свои плохие слова об американском балете беру обратно! У нас с таким материалом и работать никто не будет! Виданное ли дело?! А перед педагогами так просто преклоняюсь! Тут надо быть либо до посинения добросовестными, либо с таким громадным чувством юмора!.. Ну виданное ли это дело?! Это ж... это ж такую грудь на пуанты поставить!

СТУДИЯ



Это был мой первый год работы в классическом балете, точнее, самый конец года. И, конечно, если бы я знала, кто к нам едет, то всенепременно сбежала бы, как и другие благоразумные концертмейстеры, но я была в девственном неведении, поэтому легко попалась, мало того, еще б и разобиделась, если бы пригласили не меня, потому что к тому времени уже играла всем заезжим гостям. Желающих на них обычно мало, а мне нравилось — я у них училась. Вряд ли бы из меня вышел сильный профессионал, если бы их не было. На первых порах голова рассыпалась от того, что всё, что казалось неизменным, оказывается, совершенно у всех разное, бывало и с точностью до наоборот, а через какое-то время из огромного количества частностей картинка опять собралась и стала целой, и пришло

понимание совершенно другого качества и уровня. К тому же, когда играешь гостю — не надо готовиться, подбирать новую музыку — играй себе лучшее, ему еще ничего не надоело. Опять же спрос невелик — экспромт. Адреналин опять же. То есть, куда ни кинь — хорошо.

Но всё тогда началось странно: моя шефиня вызвала меня в кабинет, усадила и сказала, что к нам приезжают... (тут она наверняка внятно проговорила, кто и откуда, но я не расслышала), и им нужно два дня поиграть. Я кивнула и радостно рванула уходить. Шефиня озадаченно остановила и еще раз что-то повторила. Я не поняла, вообще английский слабо понимала, но на всякий случай опять кивнула. Тогда она понизила голос и сказала, что очень бы хотела, чтобы я сыграла. Я оторопела — так вроде ж уже согласилась?.. Странно как-то... Мой Ангел-Хранитель (в миру — интуиция) тоненько зазвенел над ухом в серебряный колокольчик: «Тинь-тинь-тинь, что-то не так, береги себя...» Безрезультатно. А шефиня не унимается: «Некому играть...» — и смотрит как на тяжелобольную. Киваю. (Ангел звенит настойчивее.) А она, видимо, приготовив ворох приманок, опешила от неожиданного поворота дел, но на ходу тоже перемениться не может: «И,— немного неуверенно,— в понедельник можешь не приходить, отдыхай». Медленно киваю. (Звенит уже в обоих ушах.) Она: «Мы заплатим за урок...» — и называет сумму, в три раза превышающую обычную (а я бы и даром играла охотно). Тут уж Ангел-

Хранитель берет чугунную сковороду, да как — хрясь! — меня по башке, мол, береги себя!!! Хотя и без этого уже понятно, что происходит что-то не то, но начинать капризничать на этом этапе, согласитесь, было бы уже ненормально.

Выйдя из кабинета, я тут же забыла про все опасения (а толку-то? все равно ничего не исправишь) и радостно побежала razзванивать мужу, за какие сумасшедшие деньги меня покупают. Он впал в задумчивость и говорит: «Ты смотри, подготовься». Здрасьте! А чего готовиться-то? К чему?! Если бы хоть раз этому педагогу играла, тогда понятно, а так? Что я, за две ночи репертуар новый выучу или качественнее заиграю?

Но накануне все-таки струсила и решила подготовиться: ноты рассортировала и голову помыла.

Ну вот, как сразу пошло — не так, так и пошло: проспала. Не то чтобы совсем, но пришла не заранее, чтобы попривыкнуть, разглядеть всех, а влетела за три минуты до начала. Номинально, конечно, не опоздала, но все же не по-людски. Времени на посмотреть не было, но с удивлением отметила, что народу многовато, а главное — в публике обычно на таких уроках сидит себе несколько человек на полу, и всё, а тут — несколько плотных рядов на полу и ряды стульев, на которых весь местный танцевальный бомонд — преподаватели, владельцы частных студий, стареющие танцоры и еще не знаю кто. Чинно сидят, ждут.

Сердце заныло — чего это они здесь? Мандраж начался. И вдобавок глаз выхватывает, что в зале, по всей площади которого выставлены дополнительные станки (обычно на такие уроки слетается много народа), какое-то неестественно большое количество красивых парней. Ну один такой — еще куда ни шло. Ну два? Но три рядом, и как будто так и надо?! Аполлоново-нарциссового типа, одним словом — принцы. В природе такие рядом не живут. «Наверное, из местных театров»,— подумала я как-то неуверенно.

А по залу элегантно дефилировал и вовсе невообразимый красавец (как выяснилось — зам), весь такой невозможный, тоже из принцев, но постарше. Представьте теперь балетного, который прекрасно знает, что он красавец писаный, бродвейская знаменитость, а на полу толпа не сводящих с него глаз девиц, которых он «не замечает». Вы представляете, КАК он может ходить?! Вот ТАК он и ходил! Действие оказывало — паралитическое. (Потом нашла статью о спектакле, в котором он танцует, о всей его роли пара слов — «самый элегантный мужчина на сцене; интересен после первых же двух шагов». Вот-вот, не знаю, как он прыгает, но в эти два шага верю сразу и во веки веков.) И, кстати, к вопросу о мужской красоте: как только в зале появился Сам (совершенно обычный, сильно седой), то про зама не то чтобы забылось, а он просто моментально перестал существовать, как и не было никогда.

Если где-то появляется сильная личность, то сразу создается впечатление, что этот человек занимает «много места». Когда в аудиторию вошел Д. М., он заполнил собой все пространство, стало тесно. Его трудно описать словами, потому как харизма — такая вещь, которая воздействует непосредственно и плохо поддается описанию. Попробую хотя бы внешне:

высоченный, здоровенный, просто подстрижен. Строгий и неулыбчивый, хватка железная. Если бы я наверняка не знала, что он связан с балетом, то скорее подумала бы, что он военный, причем не штабной,— немногословный, несуетливый, не ориентированный на публику, в абсолюте подтверждающий формулу «Орел парит молча». В его присутствии, казалось, даже дышать полагалось в строго отведенные для этого моменты.

Поздоровался на хорошем русском, что-то спросил, я и ответила радостно, да, видно, в трафарет не вписалась — запротестовал, мол, знает только несколько фраз, но шаг вправо, шаг влево — ни-ни.

— Откуда тогда такое хорошее произношение?

— Я уже столько лет в Большом Балете, а там куда же без русских?

Приятно. Позволила себе не возразить.

Чтобы заодно завершить «русскую» тему, скажу, что все батманы, прыжки, вертушки у него были абсолютно «наши», никаких американо-баланчинских дел. Всё очень

по-родному, поэтому появилось комфортное ощущение, что мыслим на одном языке. Но это я уже вперед забежала, приходится возвращаться.

Прежде чем приступить к описанию урока, нужно сделать небольшое пояснение, иначе будет непонятно, что меня смутило. Дело в том, что пианист я — обычный, держусь на том, что уши есть, и могу сыграть с ходу по слуху все что угодно, причем в той же тональности, что мне запоете (ну, кроме многобемольных, сказывается скрипичное прошлое, этих изысков не люблю, жить стараюсь проще, я девушка сольмажорная). А если всерьез, то у меня есть свойство, которое прикрывает и восполняет пианистическую несовершенность, у музыкантов это называется «чувство ансамбля», в данном же случае не знаю как и назвать — я «слышу движение», то есть педагог показывает, а я моментально озвучиваю любую его прихоть, и, как бы я ни играла, педагог всегда доволен, ибо под меня ему удобно и легко.

Поэтому, когда Он начал урок словами: «Плие, пожалуйста»,— я немного смешалась: как? Какое? Какой характер? Обычно по первым движениям просчитываешь педагога, его эмоциональный посыл — романтический или энергичный, хара́ктерный или сильфидный, так и музыку выбираешь под темперамент, и под конец урока у педагога-гостя (свои привыкли) всегда прекрасное настроение — он получил то, что хотел. А тут: «Плие, пожалуйста»,— как

язык показал, из-под меня выбивают стул, на котором сижу, и оставляют быть пианисткой в чистом виде. Страшно.

— Какое? — задала свой последний вопрос за день.

— Любое. Ваше любимое.

Нехорошее начало. Осторожно даю вступление. Разумеется, буду импровизировать, не ноты же искать, посмотрим, что за гусь. Играю, глаз не свожу — как начнет, куда двигаться? Стоит как вкопанный, как не здесь, что в голове — непонятно. Вообще молчит! Уже первая доля (!) — рукой показал вниз, мол, пошли на плие. Ну пошли (класс мягко опустился на приседание). Ладно, решаю про себя, будем ориентироваться на два деми и гранд, дальше-то Он не будет молчать? И тут началось чудо...

Не стану описывать постепенно, а вывалю сразу — Он обладал совершенным музыкальным чутьем, не только безошибочно чувствовал музыку, Он ее предчувствовал! Бывают педагоги, обладающие тонкой музыкальностью, которым физически некомфортно, когда музыка не соответствует движению. Тогда они просят вперед послушать, что вы намерены им наваять, а потом уже строят свою комбинацию. Либо запрашивают конкретный фрагмент. Этому же и времени не надо — Он предчувствовал музыкальную линию за секунды.

Поначалу ощущение было довольно странное: что делать? Давалось ли это время на ориентацию и мне нужно

было как можно быстрее включиться в происходящее и заняться прямыми обязанностями, или подразумевалось, что мне так и полагается безвольно тащиться до конца урока? А Он и руки не поднимет — сухо отпускает команды. Идти вперед приходится самой, от балды: мол, а почему бы не попордебрить здесь? Реагирует мгновенно — дает пор де бра. Непривычно — это кто тут кого на веревочке выгуливает?!

Но кончилось такое относительно спокойное житье довольно быстро: во-первых, понял, что за меня можно не беспокоиться, и стал показывать то, что ему надо, либо говорить, но уже не после меня, а чуть вперед — я успевала; а во-вторых, начиная, пожалуй, с жете, свет для меня померк и более уже не включался: пошли такие темпы и размеры, каких у нас сроду не бывало, поэтому поле моей деятельности сузилось до клавиатуры и педагога, что творилось у станка — понятия не имею. Буквально в начале, когда еще мир не стал с овчинку, глянула на сидящих педагогов — вид у всех застывше-ошалелый. «А они-то чего оцепенели?! — буркнула про себя недовольно.— На стульях же сидят, не у станка. И не на моем месте, что еще хуже».

Время на открыть ноты не давал — они так и не пригодились. Это был мой первый мастер-класс, который я отыграла совсем без нот. К тому же его комбинации были короче, чем у нас, и, соответственно, их было больше, да еще было много терминов, которых я никогда не слышала. Ну

ладно бы показывал — мне тогда сам черт не брат, неважно, как это все называется, но ведь стоит, как Дзержинский на площади! Играю, руки дрожат, перед каждым номером уговариваю себя набраться храбрости и попросить секунду на открыть ноты или на подумать — не посмеет же отказать? Здесь всегда ждут. Но жесткий ауфтакт — и неудобно. К тому же столько народу сидит, ладно, думаю, пока рогами в стену совсем не упрусь, буду держаться.

Не помню, на чем точно это началось, кажется на жете (Он вообще в привычный ход урока постоянно вставлял дополнительные комбинации), но началось это не так зловеще, как оказалось потом. Объявил: «Полонез!» — и тут же резкий взмах руки — темп и ауфтакт. Надо заметить, полонез в своей жизни я играла один, сразу после института, а то и во время — из «Евгения Онегина», и больше никто отродясь ничего подобного не запрашивал. А тут вдруг понадобился, да в каком-то бешеном темпе. С ужасом понеслась, вопрос о поимпровизировать не стоял — не до жиру. Закончили — перевела дух и, не успев порадоваться на тему — «надо же, помню», слышу: «Полонез, пожалуйста». Еще один?! С испугу вспомнила полонез «Варшавский», причем опыта игры полонеза на станке у меня нет, сижу и по ходу игры лихорадочно прикидываю: «В вальсе „считается“ только сильная доля, он же явно считает каждую. Вопрос — как играть вступление? Как в вальсе —

четыре такта (но больно длинно), или два — тогда получится шесть долей, это нормально?» Играю хитро: типа два такта, но, если увижу, что никто не шевелится,— развернусь еще на два. Упс, после второго вступили — понятно, будем знать. Потом вообще начинается тяжкий бред — играю и по ходу мучительно высчитываю: если фраза рассчитана на четыре, а у меня — по шесть, то, сыграв три такта, у меня останется одна лишняя доля? Но после еще трех — три лишних, это будет, это будет, нет, сосредоточиться не могу, пытаюсь просчитать, нет, не соображу, ладно, пойду с конца: шестьдесят четыре такта делить на три, это будет, это будет двадцать один и остаток два, нет — один, черт, два лучше, но, впрочем, тоже плохо, и что вообще с этим результатом делать?! А сколько уже сыграно — не знаю, совсем запуталась, нет, пойду сначала, опа! — перевернулись на левую ногу, значит, половину уже отыграли и можно заново начинать, но крыша едет, поэтому бросаю вычисления — ладно, сам остановит где надо, с меня хватит.

На удивление, все закончилось как-то логично. «Наверное,— подумала я,— когда тактов много, то остаток в конце выливается в полноценную фразу, и все сходится?» Когда «сошлось» и последующие несколько раз, дошло — Он уже давно все просчитал.

Урок идет своим чередом. Почти нет три и шесть, сплошные два да четыре в бешеных темпах, о любимых

вальсах мечтать не приходится, все быстро и пульсирующе. Вдруг: «Полонез, пожалуйста!» Как — опять?! Я уже все, что знала,— поиграла. Но жесткий ауфтакт — и думать некогда, надо вступать. Импровизирую, а внутри страшно ругаюсь: «Это что ж такое себе позволяет? Да виданное ли дело? Да у нас отродясь полонезов не бывало. И время даже не дает ноты открыть! Я, между прочим, могу начать капризничать и отстаивать права концертмейстера и человека на открывание нот, как минимум! Хотя нот, впрочем, никаких нет. Даже дома нет. Но это дела не меняет!» Играю и ворчу, сама себя уговариваю остановиться и время попросить или возразить хоть на что-нибудь! А неудобно — столько зрителей, надо честь конторы отстаивать, типа нам тут это нипочем, даже бровью не веду (что ж мы, полонезов не видали, что ли?), а внутри — колотит, конечно,— кто поймет, что я тут полонезы в мазурочном темпе по тональному кругу гоняю? Запомнят только, если собьюсь или встану насмерть. А он тоже — хорош! Привык у себя к профессионалам высокого класса, думает, других-то и не бывает? В общем, внутренняя жизнь у меня была очень напряженная и насыщенная.

На четвертом полонезе уже перестала на него обижаться, шпарила обреченно, переживая только за тональности — их же менять надо! После шестого перестала их считать — а смысл? Стала тогда переживать, что мотивчик похож: что

бы еще поиграть, что поиграть? Они ж у меня на одно лицо. Так, быстро-быстро, надо вспомнить какой-нибудь польский фильм, схватить оттуда мелодию и всунуть в полонезные тиски... И память услужливо вытаскивает откуда-то из закромов «Четыре танкиста и собака» (тьфу! время пошло).

Его мазурки воспринимала уже как подарок судьбы: там хоть в левой без проблем.

Первая секундная пауза образовалась перед растяжкой, когда он махнул студентам рукой, мол, валяйте, а ему кто-то задал вопрос. Я тут же метнулась к папке, выхватила ноты и поставила на пюпитр Баха. Я стараюсь не импровизировать на растяжке, потому что как ни крути, а у каждого концертмейстера свой стиль, и он набивает оскомину, а растяжка — это все-таки отдых, и не только телу, голова тоже должна переключиться. Поэтому я «чищу» уши чем-нибудь кардинально иным, по возможности нетанцевальным. Мой стиль скорее русско-романсовый, поэтому решила — никакой лирики, пойдем Бахом! Руки приготовила, настроилась на «вечное», понятно, можно уже начать играть, но что ж я, враг себе? Нет уж, так посижу, типа жду команды. А Он оторвался от студентки, картинно разворачивается ко мне, мягкий взмах руки и ласковое: «Пожалуйста, что-нибудь очень русское». Я зажмуриваюсь и начинаю Баха... Нет, мои нервы этого не выдержат!..

Еще из урока.

Улыбнулся один раз, когда заиграла «Мексиканский танец». Как юноша расцвел — глаза цвета неба — говорит: «Мой педагог всегда это просил на такие прыжки» (о, и мне идеально легло, потому и заиграла).

А танцоров похвалил и вовсе один раз, что немыслимо для американской школы: «Goodboys»,— своим мальчикам на прыжках. Девочек как и не замечал вовсе. Середину помню плохо — все в тумане. Внутренние монологи затихли, печенка была отбита, болевой порог зашкален. Одна мысль только и осталась — ну еще немножко, главное — не сойти с дистанции.

Смотрю на часы — урра-а! Большие прыжки не успели! Урра! Я продержалась! Время вышло! Уррра!!! Гордо распрямляюсь — жизнь все-таки хороша! А он спокойненько так (и плевал на время) объявляет гранд аллегро. У-у, нечестно! Хоть реви с досады. Пока он им говорил, образовалось время — могу открыть ноты. Достала и думаю, что сыграть. А облажаться в конце, когда все прошло гладко, обидней всего. Ну уж нет, думаю, никаких сложностей и изысков, поимпровизирую что-нибудь простое, и в домажорстве всенепременно, и чтоб могла в любом темпе и в любом состоянии, никакого риска. Тьфу-тьфу-тьфу — начали! Но что это?.. Ну и темп дал? Ме-едленно! Под такой темп не гранд жете прыгать, а на турнике висеть, кто подтягиваться не может. Играю вступление и смотрю на него во все глаза — наверное, попра-

вит? Но нет, заметил мой немой вопрос — кивнул, мол, все нормально. Ну ладно, нормально так нормально, жаль, что это заиграла, с таким темпом я могла бы и на чем-нибудь сложном повыпендриваться, эх, жаль, ноты не открыла! Маленько поиграла, успокоилась и решила на них таки посмотреть, под ногу поиграть, если позволит. Разворачиваюсь, и как раз мальчики клином летели, причем не от меня, а диагональ на меня. Они прыгнули, я подзамерла, чтобы поймать их... и остолбенела: они зависали. Высоко и красиво. Как в кино. Господи, а это кто же к нам приехал-то?! Я, наконец, поняла, почему публика в шоке,— зрелище-то нереальное! Так люди не прыгают. Да тут, оказывается, уже полтора часа такое! А я ни сном ни духом, я не хочу играть — я хочу смотреть! Ничего подобного никогда не видела. И ко всем моим несчастьям прибавилось еще одно — стало дрожать правое колено (уже от увиденного). С ужасом думаю — наверное, им надо под ногу играть? А может, Он не разрешает? Не знаю. Многие не разрешают, мол, пусть вписываются. А, ладно! Ну шикнет так шикнет, и — раз, поймала, два — поймала, и тут Он поворачивается на мой взгляд и кивает — руки развязаны! И нет ничего лучше, когда знаешь, что на правильном пути, все становится легко и в кайф. И они почувствовали, что все можно, и появился кураж — великая вещь. Что они творили! Зал взрывался аплодисментами. Больше всего мне хотелось все бросить и смотреть.

Когда урок закончился, я даже не слышала толком — увидела, повернулись ко мне, аплодируют. Встала, оперлась на инструмент (типа сама стою) и перешла в режим автопилота. Все чужаки благодарили на хорошем русском (дошло не сразу). Когда они откланялись, постояла немного и тихонечко двинулась по стеночке на выход. По пути пошла к своей боссярше — пожаловаться на жизнь, поскулить в плечо, чтобы по голове погладили, и спросить, кто это и откуда? А она сама в шоковом состоянии, глаза круглые, говорит, что еле выжила. Так... жаловаться, оказывается, некому — живых нет, тут не до меня, ладно, поплетусь домой, в любом случае перспектива на сегодняшнюю ночь ясна — буду долбить полонезы.

Продираясь к выходу, раскланивалась со всеми, из толпы запомнился владелец одной студии, который что-то говорил про не поиграю ли ему открытые уроки в январе, но я мало что соображала и только кивала и твердила: «Спасибо, и вам также». Он, не прекращая говорить в пустоту, сунул мне в руку свою визитку, с которой я так и проходила, зажав в кулаке, как октябренок мороженое, пока наконец не зашла в туалет, положила ее на раковину, да там и забыла, и когда дома вспомнила, то тихо порадовалась, что тот мужик — не дама, а то (какой кошмар!) зашел бы он в дамский туалет и увидел бы на раковине свою намокшую визитку, наразобиделся бы!.. Дамы, они, знаете, обидчивые.

Дома залезла в Интернет смотреть, кто это к нам приехал? И тут, конечно, обомлела — главный театр страны, при них Студия — набирают на двухлетнюю учебу молодых одаренных танцоров (шестнадцати—двадцати лет) со всего света. В здравом уме никогда бы не решилась им играть. Есть у них образовательная программа — ежегодно ездят в турне по колледжам страны с концертами и мастер-классами.

Вечерком позвонила своей, и мы вместе поохали про урок, про восторг, про полонезы, про страшно играть, а на ночь я засела за инструмент. Если у человека существует количество положенных ему на жизнь полонезов, то, похоже, все их судьба вывалила мне в одни сутки. Этакий «полонезовый стресс». С извращеньицем-с, судьба-то.

Утром захожу в зал. Он подходит быстрым шагом и с ходу в лоб:

— Доброе утро! Мне сказали, что вы меня боитесь? Простите, я не хотел. (Ох... с великими трудно — они позволяют себе называть вещи своими именами.)

— Нет, не боюсь. Просто все непривычно. У нас не так. И темпы другие, и прыжки.

— О, а я думал, вы русская — вам все равно, извините. (Ну вот! Час от часу не легче — знала бы, стояла бы насмерть, как пуговица, а тут сама же и пожаловалась, обидно.) А я не заметил, что у вас проблемы.

— Так и не было никаких проблем, просто непривычно... Скажите, вы — поляк?

— Нет.

— Родители из Польши?

— Нет.

— А тогда откуда такая любовь к полонезам?!

— А вы не любите полонезы?

— Теперь нет.

— Хорошо, полонезов больше не будет. (Ну здрасьте! Я целую ночь над ними сидела!)

— Да нет, пожалуйста, мне все равно, просто вчера было неожиданно.

— Полонезы — это же очень удобно, вот смотрите...

И начинает подробно, серьезно и очень грамотно разъяснять и раскладывать ритм полонезов на батманы. Ладонями, как водится, ноги показывает, акценты подчеркивает, поет. Я остолбенела, в ушах вата. Перешел на мазурку — она тоже хороша. Киваю — и мазурка хороша, а мысль в голове ушла совсем в другую сторону: неужели гей? Не может быть!

Этот урок прошел спокойно, когда знаешь, чего ожидать, не так страшно, да и темпы Он ссадил, наверняка моя, когда с ним говорила, и про девиц сказала, они-то уж точно полуживые стояли. Я потом одну студентку спросила — ну как? Она ответила: «Страшно. Я старалась ни на кого не смотреть и держаться».

Только один раз, на гранд батман у станка Он объявил: «Полонез!» — и тут же, с поклоном в мою сторону: «С вашего позволения».

С кодой повезло: когда показывал — пел донкихотовскую, ее и получил. И когда они крутили свои бесконечные вертушки на диагонали, пришла мысль, что это роскошно ложится на «В пещере горного короля»: там хоть по сути одно и то же, но у танцоров энергетика накаляется, и у зрителя восторг растет — получается эффект увеличивающейся спирали (или растущего снежного кома), и у Грига тот же эффект при кажущемся повторении одного и того же. Но с ходу лепить Грига не рискнула, да и в левой там ужас что творится — не по зубам.

Что еще хочется добавить о педагоге: кроме блистательной музыкальности Он обладал еще одним поразительным качеством — чувством партнера (а может, это две грани одного и того же?), наверное, с ним было очень удобно танцевать. Я работала с ним всего два урока, но каждый раз, когда у меня возникали сомнения или вопрос, он поворачивался в мою сторону. Иногда, предвосхищая вопрос, бросал коротко пару слов — сразу становилось ясно. Или кивал. По-разному, но всегда точно. Может, это, конечно, громадный опыт работы с разными концертмейстерами, и он уже просто знает, где обычно возникают со-

мнения и как их коротко разрешить, но разве многие педагоги это умеют? Иной раз такой бред несут, накаляясь оттого, что недоумение в вашем взгляде только растет. Что же касается моих напрягов, так они были связаны только с техническими проблемами: три полонеза подряд для меня ужас, и темпы запредельные, и упражнения незнакомые, ну не привыкла я.

Билеты на их выступление заранее не купила — ушами прохлопала, звонила шефине, мол, хочу страшно, SOS! Она удивилась, как это я прозевала, билеты давно раскуплены, но спросила — сколько штук? На вопрос, сколько я ей должна, ответила: «Ох, нисколько! У меня стойкое ощущение, что мы тебе мало заплатили за эти уроки». Волшебные слова! Учитывая, что они исходят из уст работодателя.

Выступление было потрясающим. Давали несколько разножанровых фрагментов. Начали, конечно, с классики — просто здорово! Ни придраться, ни поворчать, ни поскучать. Как во сне — картинка идеального. Современные фрагменты тоже держали на восторженном пределе, не опуская накал ни на секунду, ужасно интересно. Как после поднятия занавеса последний раз вдохнул — так в конце только и выдохнул: как, всё?

Одним из открытий американского балета для меня стал мужской танец. Раньше я воспринимала мужское

соло как заполнение паузы, пока балерина отдыхает. Нет, они все-таки бывали хороши, но свет и суть балета — в Ней. А тут все наоборот, и это так же захватывающе! Падекатр — это для четырех мужчин, просто красота и совершенство в чистом виде. И как концертмейстер я была совершенно довольна: они, в отличие от многих, танцевали настолько в музыку, что казалось, рождают ее своим движением. От такого я давно отвыкла.

Они поехали дальше.

Утром нового дня отыграла своим первый класс — легко и просто, играючи, все привычно и предсказуемо. И когда урок закончился, села в машину, да как разревелась! Все показалось безнадежно пресным, а небо непроходимо-осенним. Как будто в спокойную и устоявшуюся провинциальную жизнь на мгновение ворвалась яркая заморская птица, опалила своим крылом и исчезла за горизонтом. И надо как-то приходить в себя и собирать разлетевшиеся кусочки и опять вписываться в размеренное бытие. «Спокойно,— уговаривала себя,— спокойно, это просто отходняк. Просто надо банально заниматься, как любой живой музыкант, чтобы не грохаться в обморок от малейшего перенапряжения. А то расслабилась, обросла довольным жиром и вшами лени и думаю, что все хорошо. А где-то совсем иная жизнь! Ведь, в принципе, работа с такими людьми — это творчество другого качества, совсем иные миры».

И я ревела еще пуще по вещам, которые загоняешь подальше и не хочешь признавать — по потерянным рукам, по нереализованным способностям, по Москве, да по всему, что смогла зацепить по пути, потому и поревела, как это обычно бывает, когда женщина, разбив чашку, вдруг разрыдается над всей своей жизнью, сразу над всем, что случилось, а еще горше над тем, чего так и не случилось.

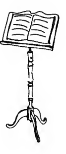
«Спокойно,— уговаривала себя,— спокойно, это просто отходняк, просто отходняк. Я буду заниматься, я выучу новый репертуар к их следующему приезду, выучу этого дурацкого горного короля, я же могу, я же могла... Все хорошо, все хорошо, все будет хорошо...»

И все стало хорошо: в следующем году я была опять расслаблена, благодушна и совершенно не готова...

Второй

Через год...

Шефиня сообщает, что они опять к нам едут. Я встрепенулась — сам едет, опять он? Оказалось, нет — ему предложили государственный балет Гонконга, он уехал, кто теперь возглавит отделение — неизвестно, поставили кого-то временного. Жаль. Но ладно, посмотрим на новенького, тоже интересно.



И вслед за новостью — гром средь ясного неба: получаю письмо прямо из театра, спрашивают, не поиграю ли несколько раз не мастер-классы на публику, а именно им перед спектаклями и вообще. Я обрадовалась, шутка ли, сами приглашают.

Помня о том, что в прошлый раз ноты открыть не дали, я их и не брала, приготовила только тоненькую папочку со «сливками». Играть вечером, спешить некуда, и к обеду я решила подготовиться с чувством, с толком, с расстановкой и обнаружила... что «сливочной» папочки-то нет. Нигде. И начался марафон — рванула объезжать все места, где могла и не могла забыть, всех поставили под ружье, но ценнейшая папка провалилась сквозь землю. Всё, что есть в доме, мне не нужно, сыграю наизусть, а то, что в папочке,— побоюсь. Кошмар! Не то чтобы без нее хоть в петлю, но хотелось бы все-таки «сливки»...

Первый раз играть нужно было не открытый урок при зрителях, а закрытый, как раз тот самый, когда нанимали «для себя». Для меня этот урок очень важен: во-первых, в любимом зале (с креслами наверх амфитеатром, как чаша), хороший рояль, хорошая акустика, все видно и камерно, а раз само место по душе, то импровизации получаются свободные, льющиеся. Во-вторых, нет публики, и для педагога есть только одно новое лицо — я, поэтому на

следующий день, когда набивается полный зал зрителей и участников, работается спокойно, как с давним знакомым, уже знаешь, чего ожидать, какая манера, какой характер, напряжение неизвестности остается позади.

Когда подходила к залу, вдалеке увидела прошлогоднего красавца-зама: «Только бы не он! — испугалась я.— Как на эдакого смотреть, не отрываясь? Черт!» — понадеялась, что он опять будет просто сопровождающим, как в прошлый раз. Около входа ждала студентка, отвечающая за проведение урока, ей было велено отойти от меня только тогда, когда скажу, что все в порядке. Я, конечно же, сразу отпустила, но нет, ей надо было у рабочего места удостовериться, что все хорошо. Ну ладно, пойдем сделаем, как положено, например посмотрим, на месте ли рояль?

Пришли — на месте. Она раскланялась и начала уходить, как я вдруг охнула — пюпитра нет, вот это да! Девочка занервничала-засуетилась, начала искать, звонить пианистам, не уносил ли кто пюпитр от рояля? Не знаю, что они отвечали, но ей было не до смеха. Кто-то посоветовал сбегать на факультет к музыкантам, но в зал стали заходить гости, поэтому она осталась.

Худшие опасения оправдались — красавец оказался педагогом. Педагог-принц. Девочке не пришлось нас знакомить, он прямиком направился ко мне, протянул руку,

представился и мягко добавил, что знает, что я не люблю полонезы.

Я похолодела — так они еще и сплетничали обо мне? Это же надо — год помнить, кто из чужих концертмейстеров что любит не любит?! Чтобы скрыть смущение, начала разводить руками, оборачиваться на рояль и сетовать, что у нас тут неожиданные сюрпризы — пропал пюпитр, я в растерянности, но постараюсь, отыграю, как смогу, просто будьте снисходительны и отнеситесь с пониманием (враки, конечно, ничего ставить на пюпитр мне не нужно, набрала из дома каких-то дурацких нот для самоуспокоения). На том и порешили, а девочка рванула за помощью к музыкантам, и, когда урок начался, она, запыхавшаяся, появилась в зале...

...что она несла, мне, в отличие от остальных, из-за рояля видно не было. А им было. Но ни один мускул ни на одном лице не дрогнул, только педагог хохотнул и радостно уставился на меня, бросив класс. Девочка, наконец, дошла и с гордым: «Вот, нашла!» — поставила рядом со мной скрипичный пюпитр.

— Это... это как же? — оторопела я.— Что это?

— Что, не тот?! А они еще спрашивали: «Вам для стоячего или сидячего музыканта?» — я сказала — для сидячего, что, не то?

Расстроенная, она отправилась относить обратно. Мы с педагогом встретились взглядами и прыснули от смеха,

что сразу расположило к нему — понимает! Кроме него никто на оркестровый пюпитр не среагировал.

Урок пошел своим чередом. Вернулась понурая студентка, обреченно спросила, все ли нормально, и побрела наверх в последний ряд зрительного зала.

Проходит несколько минут, и вдруг краем уха слышу какой-то сдавленный вопль, барахтанье, девочка выбирается со своей верхотуры, ползет ко мне и, наконец, диким шепотом из-под рояля:

— Я сейчас покажу вам столик, там, наверху, посмотрите, это он?

Напомню, что все это время я играю (какой столик? зачем столик?), но киваю, лишь бы отстала и уползла.

Она возвращается на свое место и делает широкие пассы руками, урывками смотрю на нее, и тут она, присогнувшись, чтобы не отвлекать остальных, с трудом приподнимает над рядами пюпитр от рояля! Я начинаю сдавленно хихикать, нагибаясь к клавиатуре, и крупных длительностей в моей игре становится больше.

Девице помогли донести пюпитр, водрузили на место, и урок продолжился. Во время игры тысячу раз порадовалась, что мне не пришлось сразу выходить на мастер-класс, за вечер я успела привыкнуть к педагогу и разглядеть танцоров, многих из которых узнала с прошлого раза, они совсем не изменились, хотя глаз отметил новый штрих — в них по-

явилась некоторая вальяжность. Педагог не диктовал музыку, не показывал комбинации, парой слов определяя, что нужно делать, это был тихий домашний междусобойчик.

Игралось спокойно, если не считать постоянного опасения сделать что-то не так, не понять, не поймать, не уловить, и мешало, что, когда Он подходил к роялю, я начинала краснеть и сердиться на себя. Пару раз обернулась в зеркало — нет, обычные щеки, нормального покойницкого цвета. Это немного успокаивало, но от общего беспокойства не избавляло.

По педагогу было непонятно — действительно доволен ли или вежливо терпит мою игру. Может, раз он помнит, что я выговаривала за полонезы, то знает, что я еще и бояка, и поэтому подчеркнуто доброжелателен, чтобы не пугать меня, а на самом деле, поди знай, может, я вообще не в ту степь все играю? К одному адажио заиграла па-де-де из «Дон Кихота», Он немедленно остановил и попросил заменить (ого... за всю жизнь меня только один раз всерьез попросили заменить — я наделала много ошибок в популярном вальсе, резало ухо). Я тут же отскочила от Минкуса к чему-то совсем неизвестному и больше музыку из балетов не трогала. Видимо, это у нас, в учебных заведениях, ценятся такие вещи — в образовательных целях, а у них театральная компания, и на конкретную музыку завязаны конкретные вещи, поэтому музыка из балетов не комильфо? Уже потом на спектакле

увидела — они исполняли именно это па-де-де, так что все стало понятно. А в будущем каждый раз, когда мне предстояло играть балетным компаниям, я обязательно заходила к ним на сайт и интересовалась текущим репертуаром, чтобы обходить эту музыку стороной. В остальном же «домашний» урок прошел тепло и спокойно.

Мастер-классы были совсем другими — в ярком огромном зале с потолками в три этажа, гулкая акустика, не рояль, а пианино, нюансы не слышны и бесполезны, этакий крытый плац для небольших парадов. Сами уроки — интересные, непривычные, комбинации сложные и неожиданные, мозги и тело приходилось перестраивать на ходу, а это всегда полезно.

Педагог понятно и детально задавал упражнения, что-то даже говорил классу, я не слушала, я была настроена на него другими антеннами, которые пропускают мимо слова и пытаются уловить иное — доволен или недоволен, какое настроение, что хочет, как играть, чтобы он взлетел, а не просто стоял, отпуская команды. И, как мне показалось, я уловила, что было спрятано за добросовестным ведением урока — Он скучал. Слегка. Скука не тяжелой бетонной плитой давила на него, как, скажем, на моего босса, которого не поднять уже ничем, и весь этот балет ему так осточертел, что на всем классе лежала печать сонного царства, а я начинала с тоской смотреть на часы через десять минут

после начала урока. У этого скука была иного рода, как у мальчишки, который битый час понуро высиживает домашнее задание над открытой тетрадкой, но, стоит с улицы кому-нибудь позвать его гонять мяч, как он тотчас радостно сиганет в окно — и поминай как звали.

Вел классы немного холодно, отстраненно, основное слово — элегантно, то ли это от скуки, то ли манера, но в нем не было самолюбования и работы на публику, скорее наоборот, он был как в прозрачном коконе-скорлупе, которым загораживался от зрителей. «Под него» просилась музыка с потусторонними бемолями и переливающимся хрусталем, а я девушка диезная, мне бы попрыгать, но я старалась, как могла.

Не могу не отметить милую деталь: на концерте дочери, увидев его в антракте, спросили таинственным шопотом:

— Мам, это кто, принц?

— Ну, в принципе, да,— улыбнулась я, вспомнив, что они всех премьеров называют принцами. Удивило то, что Он был не на сцене, и одет в человеческое, и возраста непринцевого, однако же они разглядели принцевую стать.

Время от времени Он подходил к своим танцорам и что-то говорил негромко. Да, теперь было виднее, что класс более расслаблен, чем раньше. Интересно, скажется ли это на общей форме? Хорошо, что я видела их на сцене

в прошлом году, теперь будет с чем сравнить. Нет, понятно, что ежечасно невозможно выкладываться на полную мощь, но все-таки, все-таки...

И при всей этой элегантной замедленности, в которую был погружен зал, класс взлетал. По диагонали обычно видно, кто ведет урок — преподаватель-теоретик или танцор, часть жизни проживший на сцене. По тому, как класс летал, какие комбинации были заданы, чувствовалось, что урок дает премьер.

И вот Он продемонстрировал (ах, как продемонстрировал!) большие прыжки, напевая что-то смутно знакомое. Мальчики приготовились, я дала вступление, первая группа пошла на диагональ, Он останавливает и обращается ко мне радостно:

— А вы не можете поиграть нам это? — И опять запел первую фразу.

Я примерзла к стулу — я не знаю, что это! Даже не догадываюсь. Могу, конечно, выдать импровизацию по первому мотиву, но, если это вещь известная, не хочется показывать, что я не знаю ее, а Он еще так говорит, что очевидно: у Него нет и тени сомнения, что я это знаю и могу.

— Нет,— отвечаю строго, как английская гувернантка.

— Ну, пожалуйста,— улыбается лучезарно,— очень прошу! Вы это знаете!

(Ой! Тем более стыдно признаться, что я гораздо хуже, чем произвожу впечатление.)

— Нет,— мотаю головой.

Он разворачивается и через весь зал направляется ко мне, охаю — ну всё, нашла коса на камень! Подошел, я встала (я всегда встаю, когда педагог подходит,— это редкость).

— Я вас очень прошу, поиграйте нам это.

— Нет. В другой раз (хоть бы название сказал, я бы за ночь раздобыла и выучила).

Делает шаг вперед и оказывается так близко, будто вальс сейчас начнем танцевать.

— Пожалуйста,— совсем тихо и смотрит в упор. Меня накрывает горячей волной — сейчас в обморок грохнусь, делаю шаг назад:

— Нет.

Сейчас, когда уже весь зал заинтересованно на нас смотрит, спрашивать, что за вещь имеется в виду, совсем неловко, все равно же не сыграю. Ладно, буду делать вид, что у меня затык, может, я просто не люблю эту конкретную вещь, ну, может, тяжелые воспоминания или ногу, там, кто под нее сломал — в общем, личная драма. Может же быть такое? Может.

Он сделал еще одну попытку уговорить и вернулся в середину зала. Думаю, я была первая женщина в мире, которая Ему в чем-либо отказала, да и то по чудовищному недоразумению.

А в целом уроки прошли замечательно, все остались довольны, в этот раз игралось спокойнее, я успевала разгляды-

вать класс, точнее, гастролеров. Глядя на них, глаз радовался, а на душе становилось светло от простой очевидности, что вся эта игра стоит свеч, и нет ничего прекраснее и возвышеннее классического танца, исполненного этими юными богами, а то, что кругом совсем другие балеринки, так ну и что ж, зато мы видим, куда стремиться, и сомнения не остановят нашего нелегкого восхождения к этой прекрасной вершине, а разочарование никогда не настигнет в пути.

И уроки уроками, а мастер-классы мастер-классами, но мерило всему — сцена, поэтому самое интересное было сравнить, как было год назад и сейчас. Они начали концерт, как и прежде, с классики, чтобы продемонстрировать уровень труппы, потому что в классике — чуть нарушил строгий канон — носок не дотянул, локоть чуть приспустил, голову немного не так повернул, и все — слетел с пьедестала, уровень не тот, а в современном балете другие законы. Нельзя сказать, что проще, но они другие, нет этого прокрустова ложа, не вписавшись в которое становишься «самодеятельностью».

В тот год они удержали планку, высший класс был подтвержден. Но то ли ушел восторг первого впечатления, то ли танцевали спокойнее, то ли потому, что несколько номеров были прошлогодними, но краски, как мне показалось, немного поблекли, и перед глазами ясно возник образ — огромный дворец, построенный на века, который вдруг стал бледнеть и немного качнулся-вздрогнул, как на

ставшей зыбкой почве. Но я прогнала видение — такое монументальное здание нельзя развалить, его чуть поддерживай, и оно простоит еще тысячу лет.

Ну что ж, поживем — увидим, через год станет яснее. И я стала их ждать...

...А «сливочная» папочка нашлась аккурат на следующий день после их отъезда:

— Так а разве ты не видела ее? — изумился старший концертмейстер.— Она упала за пианино, я понял, что это твоя, и отнес тебе в ящик.

— Какой ящик?

— Ну как же, у каждого есть бокс, туда кладут разные сообщения, письма, ты разве не знаешь?!

— Нет.

Так я узнала о существовании персонального ящика, в котором лежала моя папочка, куча анонсов, приглашений, объявлений и конфетка.

Третий

Через год...

Опять получаю два предложения — от колледжа и от того же театра, сначала, как и в прошлый раз, играть закрытый урок в любимом зале. Прекрасно.

И опять в час «икс» меня встретила девочка, но сообщила, что класс начнется позже, потому что автобус с танцорами заблудился (представила себе огромный двухэтажный автобус, сиротливо петляющий в темноте по заснеженным горам). Пошла, приготовила местечко, посидела, потом послонялась-поискала кого-нибудь поболтать, но все вымерло — вечер пятницы, пустой темный колледж.

Прибежала девочка, сказала, что связи с автобусом нет, но мы ждем. Хорошо, ждем. Она убежала, я осталась в пустом зале. За окнами гробовая тишина, черное небо и лениво падающие хлопья снега.

Минут через сорок в холле появились первые признаки жизни — приехал «министр-администратор» компании: он добирался на своей машине и первый нашел дорогу. Сразу захлопали двери, начались звонки и шумные переговоры. Вдоволь наговорившись, он обратился ко мне, бойко извинился и сказал, чтобы я не переживала (а я и не переживала), они заплатят за часы ожидания, и я могу уйти ровно в то время, которое обозначено в контракте.

— Вам даже повезло: просто посидите рядом с роялем, а заплатят как будто играли, мне бы так!

— Ну нет, я не согласна. Пойдемте, я буду играть, а вы будете танцевать.

— В каком смысле? — Он сделал шаг назад.— Я не танцую.

— Я научу, пойдемте,— и потянулась к его рукаву, делая вид, что хочу потащить его за собой. Он торопливо отошел на безопасное расстояние и встревоженно, но внятно, как для душевнобольной, повторил, что танцевать не умеет и не будет. К общей радости, в окне показался автобус, все переключились на него, а я вернулась в зал. Через некоторое время стали подтягиваться танцоры и, наконец, появился педагог со свитой.

Он оказался немолод, маленького роста, жгучий брюнет с белозубым оскалом, приземист, широкоплечч, немногоног, обувь на высоченной платформе (мысленно попыталась представить — кого же он танцевал? Понятно, что не принц, но кто? Подставляла его то Ротбартом, то пятым другом Ромео, не, никак, только в «Половецкие пляски» он у меня вписывался, с ножом в зубах и серьгой в ухе, поэтому мысленно определила его в народно-характерные, на том и порешила). Он с ходу представился, назвав меня по имени, немного погарцевал и удалился переодеваться.

Прибывающие танцоры медленно растягивались на полу, как после долгого сна. Накануне их приезда я зашла на сайт посмотреть, кто нынче у них в составе, кто новенький-старенький, оказалось, появилась одна девушка из Одессы. Я поискала ее взглядом: в жизни она оказалась еще лучше, чем на фотографии,— хорошенькая, как куколка с золотыми волосами.

Подошел ассистент, еще раз извинился за опоздание и попросил, пока все готовятся-растягиваются, поиграть им минут десять попурри из рождественских песен. Я ойкнула: не далее чем вчера моя педагогиня чуть в обморок не упала, когда на уроке я заиграла рождественскую песню «Тихая ночь». Вся покрывшись красными пятнами, прошептала, чтобы я больше никогда, никогда не делала подобных вещей.

— Почему? — изумилась я.

— Потому что люди других вероисповеданий могут оскорбиться.

— Почему?! Я могу для равновесия в Рамадан поиграть татарские песни, а в Йом Кипур — еврейские! — Тут же представила себе па де баск под «Семь сорок», и улыбка невольно поплыла до ушей, но шефиня оборвала:

— Нельзя! Никогда не делай этого.

— Как скажете.

И вдруг такая просьба! Вот что значит — вольнодумные столичные штучки, им наши законы не писаны. Еще и десять минут играть, где же я столько песен наберу?

— А вам нужны только американские рождественские или пойдут любые европейские?

— Любые, конечно, на ваше усмотрение.

Ну тогда отлично — поди там знай, что я играю.

И я стала импровизировать — неспешно, умиротворенно, оставляя позади суетливый день, отгораживая зал

от всего, что осталось за его пределами, вплетая наплывающие воспоминания и ассоциации в музыкальный рисунок; как жемчужины на серебряную нитку, нанизывая русские и английские рождественские мелодии, немецкие — привезенные с гастролей, польские — из детства, и сладкое тепло разлилось вокруг. Одесская девушка сидела ко мне спиной, глядя на нее, я заиграла «В лесу родилась елочка». Она резко обернулась и заулыбалась. А потом рояль запел ей об Умке, и одна за одной стали всплывать мелодии из фильмов детства. Наконец педагог всех поднял, и урок начался.

Может, он задавал слишком простые комбинации, чтобы не утомлять людей после дороги, может, мой опыт значительно вырос, но играть было довольно просто, как будто играешь своим, без напряжения и неожиданностей.

Что сразу бросилось в глаза: класс был не только расслаблен, но и расхлябан. Не в том смысле, когда говоришь «класс расхлябан», и возникает ассоциация со школьным уроком, где за партами сидят дети, кто развалившись, кто обернувшись, кто учителя слушает, кто болтает. Нет, балетный класс — это немного другое, и, например, если педагог задает упражнение, а ученик на него не смотрит, или меняет комбинацию, или заканчивает упражнение сообразно своему ощущению, а не вместе с музыкой — это называется «класс расхлябан». Для непосвященного глаза он даже может показаться вполне нормальным — все молча чем-то

заняты. Но этот класс выглядел как на самовыпасе и напоминал спящую царевну, а педагог, напротив, был бодр, громогласен, подхохатывал, бравировал и неустанно радовался сам себе. Эдакий вечный праздник, который всегда с тобой.

Я подумала: как удачно, что я начала знакомство с компанией не с них, а то наверняка бы подумала, что вот они — звездные бродвейские — кто в лес, кто по дрова, каждый себе хозяин. Понятно, что они хороши и в роскошной форме, а как поднимут свою бесконечную ногу, то о-го-го, какая линия, какая красота, такие жар-птицы стаей не летают, они каждый сам по себе, с такими, наверное, так и нужно? Но тут же возникало невольное сравнение с первым педагогом — тогда все выкладывались по полной каждый раз, и нынешние сразу бледнели на этом фоне.

Чем дольше я играла, тем сильнее укреплялась в мысли, что Он — характерный танцор, любит буйное, энергичное, и на гранд батман заиграла ему «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева и...

...если бы, давая вступление, я смотрела куда угодно — в ноты, на клавиатуру, на занимающихся, в окно, то в следующую секунду, взвизгнув, отскочила бы от рояля, как ошпаренная. Но я, не отрываясь, смотрела на педагога, поэтому точно видела, что ничего страшного не стряслось: на него не упала бетонная плита, в него никто не выстрелил в упор, он не падал подрубленным, а стоял как стоял, поэтому я только дернулась, но не остановилась. А случилось следующее:

он, с первых аккордов узнав произведение, резко присел и взревел-взвизгнул, я бы даже сказала — взрычал на весь зал. Спору нет, приятно, что на твою игру реагируют, но так и заикой можно сделаться. Когда упражнение закончилось, танцоры повернулись ко мне и зааплодировали, и это мне не понравилось. Они еще не раз аплодировали в течение занятия, и каждый раз мне было неуютно. У нас так не принято — есть устоявшийся ритуал: благодарить и аплодировать в конце, потому что концертмейстер — это не исполнитель, развлекающий публику разными произведениями, это другой жанр, другая манера исполнения, другой выбор программы. Пианист играет «класс» — это одно большое произведение, которое выстраивается по определенным канонам. Благодарят — за класс, а не за то, что ты отлично сбацал «польку-бабочку». Позже я узнала, что это считается совершенно нормальным в театральных компаниях, но я-то привыкла к учебным заведениям, поэтому меня тогда царапнуло.

До конца урок так и не довели — труппу ждали на ужин, впрочем, мне и так уже было понятно, что будет происходить на больших прыжках,— там будут пробивать башкой потолок каждый в своем режиме, то есть ни о каком «в музыку» речи не пойдет, этим точно нужно будет играть под ногу, и очень-очень ad libitum [1].

---

[1] Музыкальный термин, означающий «на выбор исполнителя».

Наутро среди зрителей, которые подтягивались на мастер-класс, я встретила свою шефиню. Мы болтали о том о сем, и я похвасталась, что гости вчера называли меня по имени, стало быть, они меня узнали. Она всплеснула руками:

— Что значит «узнали»? Они тебя знают, ты же единственная, кто им играет.

— В каком смысле?

— Как в каком? Я же тебе говорила.

— Я не помню... или не поняла.

— Ну как же? Помнишь, когда я просила играть в первый раз? К тому времени они восемь лет ездили со своим проектом, но без пианиста. Мастер-классы шли под диск, потому что колледжи предоставляли им своих концертмейстеров, но ни один не смог доиграть класс. В итоге они объявили, что их компании играть с ходу невозможно, нужно знать специфику, а своего пианиста возить дорого, вот они и стали работать под диск. За много лет ты единственная, кто им играет.

Я онемела. Стояла, пытаясь переварить услышанное.

— Погоди, как же ты не знала? Они второй год нанимают тебя напрямую.

— Но я думала, что они в каждом колледже так делают... что они у вас спросили, а вы меня порекомендовали... ну чтобы других музыкантов не беспокоить.

— Ничего мы не рекомендовали! Никто и не спрашивал. Ну ты даешь!

Она засмеялась и потрепала меня по плечу. Я не шевелилась. Народ прибывал, и нужно было отправляться на свое место.

Села. В голове глухо кружилось бессвязное: как же так?.. Если бы я знала... я бы не переживала до такой степени... и вообще по-другому бы играла — смелее, свободнее, не чувствуя себя примитивной — два прихлопа, три притопа... то-то они меня все время так разглядывали... и такие осторожно-вежливые... все думала, что терпят, как взрослые дяди маленькую девочку. Начала прокручивать в памяти прошлые разы — где были мои глаза?!..

Начался мастер-класс, я не могла сосредоточиться, играла как в тумане — бамц мимо нот, опять бамц — мимо, и вдруг радостное тепло разлилось по телу: а и фиг с ним! Ни страха, ни волнения, ошиблась — не беда, никто и не заметит, как же легко теперь играть! И на душе стало радостно-спокойно — нет ничего, чего я бы могла бояться, ну что такого они могут сплясать, чего я не сыграю?!

Наверное, тот день можно назвать днем изгнания Страха. Если быть точной, то море по колено мне стало гораздо раньше, как раз после их первого приезда, но осознание своей силы пришло именно в этот день.

Свалился камень с души, игралось легко, я бы даже сказала радостно. Сам урок был скорее ординарен, никаких занятных или непривычных деталей. Единственной осо-

бенностью педагога была необъяснимая тяга к петит батманам. Он задавал их чуть ли не в каждой комбинации, не говоря о том, что отдельных упражнений на петит батман было несколько, и шли они в таком запредельно быстром темпе, что со стороны могло показаться, будто все стоят и сердито чешутся.

На следующий после концерта день было тихое закрытое занятие без зрителей, занимались только студийцы — устало, как в мареве, каждый в своем темпе, мы с педагогом были «третий лишний», на нас никто не обращал внимания, но и мы никому не докучали. Добрели до гранд батмана.

Педагог задал комбинацию, я вяло уставилась на клавиатуру, прикидывая, что бы поиграть, класс приготовился, и вдруг открывается дверь, и в зал входят четыре немолодых джентльмена. Они издали помахали педагогу, мол не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, мы сами, и стали располагаться на стульях у стены.

Я выпрямила спину — таких мужчин живьем я не видела очень давно — элегантные, в длинных пальто, в брюках со стрелками, о! Один с откровенно подведенными глазами, и все явно из балетной гвардии. Я не узнала их в лицо, потому что никогда и не видела, хотя слышала о них много раз, они прилетели, чтобы повидаться с педагогом.

«Та-ак,— выпрямилась я,— ну это точно „Танец рыцарей", шутки в сторону». А педагог уже торопливо семенит

ко мне и шепчет: «Прокофьев!» — и делает большие глаза (да догадалась уже, догадалась, что сейчас надо будет выпендриться по полной форме). И грянули мы Прокофьевым — четко, сурово и слаженно, как один. Визитеры внесли некоторое разнообразие в урок: танцоры сосредоточились и стали работать в полную ногу, а педагог, наоборот, переключился на гостей и классом уже мало интересовался.

Концерт, который они давали в тот приезд, был вполне под стать мастер-классу. Педагог открыл его краткой речью о том, что они привезли программу, состоящую из современных номеров. «В конце концов, мы американский балет, так надо же оправдывать название?» — и он широко разулыбался на все стороны.

Я окаменела — вот оно?! Всё? Это теперь так называется? (Замечу, что «американский балет» — это не балет в исполнении американцев, а жанр, заложенный Джорджем Баланчиным, давший новое дыхание балету классическому. Безусловно, классический балет и сейчас живее всех живых и является вершиной исполнительского мастерства, но ищет новые формы и открывает новые направления — современный балет.) Все годы, на протяжении которых эта компания ездила в турне по колледжам, они обязательно привозили классические и современные номера, и вдруг — ни одного классического?! Да не поверю в

никакие «оправдать название»! Неужели не могут?.. Или уже не на том уровне, что их решили не показывать? Вот это да...

Выступление подробно описать не могу, да никак не могу — все слилось в общий ком, ни блеска, ни изюминки. В какой-то момент подловила себя на том, что меня дико раздражает одна крашеная девица, нарочитая и порывистая, как примадонна немого кино. Не могла от нее отвлечься, везде она выделялась. Но тут же возник другой вопрос — если зрителя так долго занимает одна и та же раздражающая мысль, то не в балерине дело, а в том, что в принципе — скучно, и глаз ищет, за что бы зацепиться и чем себя занять. От этого стало совсем грустно, потому что вспомнила, как, не дыша, смотрела их выступления прежде. Вот тебе и «расхлябанный класс», и урок вполноги, что же дальше-то будет? Великолепный дворец, который, как показалось в прошлый раз, только пошатнулся, ощутимо рушился прямо на глазах. Нет, в это трудно было поверить... слишком известная компания, чтобы дали вот так просто развалить.

На следующий год они не приехали, и прошел слух, что педагога уволили, кого поставят на его место — неизвестно.

И я опять стала их ждать...

Четвертый

Прошел еще год, и опять они не приехали, да и вообще любые мастер-классы у нас стали редкостью. И не могу объяснить почему, но как-то в декабре, может, случайная рождественская песня навеяла, может, еще что, но я вдруг вспомнила о них, пожалела, что не приехали, и дернуло меня зайти на сайт колледжа, посмотреть расписание — ну а вдруг? Может, они теперь весной приезжают? Открываю, нахожу «декабрь» и обмираю: они здесь. Завтра — единственный мастер-класс. А меня никто не звал...

Ну ладно, театр не пригласил — педагоги сменились, меня не знают, но свои?! До сего дня мастер-классы играла только я...

Вспомнила неприятную ситуацию на факультете.

Посидела.

Продышалась.

Ну нет, дорогие мои... я обязательно схожу завтра на мастер-класс. Как зритель. В конце концов, я хочу видеть нового педагога. У меня коллекция.

К назначенному часу прихожу в зал — немного людей у станка, у стены стулья для желающих, на которых сидит один-единственный зритель — мой экс-босс. Не думаю, что его интересовал мастер-класс, скорее он пришел, что-

бы изобразить присутствующую аудиторию, все-таки он — принимающая сторона. Я была вторым зрителем, можно сказать — аншлаг. За роялем сидел немолодой мужчина и пил кофе. Судя по тому, что свободных стульев было навалом, и сидел он лицом, а не боком к клавиатуре,— это был пианист. Судя по тому, что пюпитр опущен,— это был борзый пианист.

Педагог начал урок, представился сам и представил музыканта. Да, они стали возить в турне своего концертмейстера. Они не занимаются под диск.

Педагог — с легким флером утомленности, худой и бледный, сначала помаялся немного, рисуясь, в центре зала, а потом навсегда перебрался поближе к стульям и, устало покачивая бедрами, беседовал с боссом. Мне стало неловко, что он во время занятия стоит к студентам спиной и треплется, а потом и вовсе сел, такое даже в самой затрапезной студии на самом обычном уроке трудно представить, а уж во время открытого? Я бы встала и ушла, но мне хотелось посмотреть диагональ, а это в конце.

Сам урок был не то что плох, он был банален, все предсказуемо. У меня даже закралось подозрение, что, может, это наши попросили попроще? Чтобы студентам полегче было? Но я тут же отмела эту гипотезу — зачем просить вести «под нас», если колледж платит немалые деньги за то, чтобы постоять и позаниматься вместе с ними? Без них мы и сами можем, бесплатно.

Концертмейстер был под стать педагогу. Со стороны могло даже показаться, что он весь урок играет одну и ту же песню, делая остановки, чтобы отхлебнуть кофе. Он играл... я не могу употребить слово «плохо», потому что в техническом плане он играл хорошо, иначе он просто бы там не работал, но «пианист» и «концертмейстер балета» — это не одно и то же. И вот как концертмейстер он был откровенно плох, он «гасил» класс. Конечно, он был лучше многих, но должен быть крутым! Рушились мифы.

Я сидела и через айфон строчила записки подруге-концертмейстеру: «Юля! Он играет „По улице ходила большая крокодила"!» «Большая крокодила», спору нет, удобна, пожалуй это даже было самое удобное, что он играл, но есть же еще стиль?! Одно дело играть каждодневную рутину, но другое — показательное занятие, на котором концентрированно демонстрируется лучшее, как педагогом, так и музыкантом. Впрочем, если бы он шикарно играл все остальное, то я приняла бы на ура и «Крокодилу», но «Крокодилу» в качестве блестящей вершины душа не принимала.

Самое поразительное было в том, что педагог пианиста не останавливал. Он не просил поменять музыку, не рвал на себе волосы и не ругался. Он вообще не реагировал на музыку. Танцующие тоже. Видимо, они отключались от музыки из чувства самосохранения и двигались

сообразно внутренней организации. В итоге — немузыкальный класс.

Диагональ просто поразила: даже в те редкие моменты, когда музыка была кстати, танцующие ее не слушали. Есть две формы «музыкальности» — когда танцор следит за музыкой, зная, что прыгать мимо — ошибка, и другая — естественное состояние, когда человек просто физически не может делать наперекор, как бы ни было неудобно — мучается, но делает в музыку. Эти же не мучились и прыгали себе, как блохи в банке. Я недоумевала: а как они же выглядят на сцене? В техническом плане они выполняли упражнения неаккуратно, с эпизодическими проблесками, в целом — на среднее «хорошо», но эта компания не из разряда «хорошо», они из разряда «высший класс»! Смотреть на все это было тяжело, у них же такие блестящие данные! Просто руки чесались, так хотелось поднять эту махину в воздух. Я уже почти решилась, прикинувшись доверчивой пастушкой, зацепить педагога и напроситься «разочек поиграть большие прыжки настоящим солистам», но перед боссом стало неловко: он-то точно знает — я прекрасно понимаю, что последует за этим «разочек». Напроситься, чтобы намеренно поставить в неприятное положение приезжего концертмейстера, рука не поднялась.

Насилу досидела до конца. Монументальный дворец осыпа́лся, как песочный замок.

Тихо и быстро ушла. Было горько и обидно, как будто сломали что-то мое очень личное и дорогое.

Эпилог

И опять они исчезли из виду, но через год... как интересно, эта компания неизменно появлялась в моей жизни, как будто я листала книгу, где одна страница — год.

Прихожу на работу, подходит приятельница-педагог:

— Ты слышала новость?

— Какую?

— Ну, может, и не новость, или для тебя не новость, но я только что узнала.

— Что случилось?

— Студию расформировали!

— Нет.

— Да! Подруга сказала, она с ними временами работает.

— Почему?

— За несоответствие уровню компании.

— Нет.

— Да. Ты же сама говорила, что к тому идет, и вот!

— Но я не имела в виду конец... я думала... возьмут другого педагога... что-то сделают.

— Ну, видимо, всё, ничего уже не сделать.

Я стояла, как оглушенная, не могла поверить.

Есть большие планеты, есть малые, все приходит и уходит, но... но к этому трудно привыкнуть. Трудно видеть, как рушится сильное. В такие моменты остро чувствуешь сквозняк за спиной.

Пошла к ним на сайт, официально звучит более завуалированно: театр по-прежнему набирает талантливых молодых, но учат не у себя, а отдали балетной школе, которая находится под их патронатом, там теперь они будут заниматься и появляться в основной труппе, чтобы разучивать репертуар, никакого персонального тренинга. Если не знать, что было раньше, то звучит все равно заманчиво, мечта любого профессионала — на заре карьеры попасть к ним на два года. Так, незначительная смена формулировки.

В памяти один за другим начали всплывать педагоги и стажеры, и как постепенно все менялось, и как бросилась в глаза та легкая червоточина: они не выкладывались каждый раз, появлялась ленца, появлялось «вполноги», появлялась схематичность. Конечно, всё тогда они еще могли — и выполнить, и прыгнуть, и сделать, но оказалось, что это и есть та опасная грань, клапан, податливо открывающийся в одну только сторону и не пускающий обратно, когда «не могу» утешительно прикрывается «не хочу», «не сейчас». Слишком обманчиво это «я могу», его надо подтверждать каждый раз, и не потому, что другого раза

может не быть — будет, еще как будет, но без тебя. Потому что ты уже не сможешь.

Я мысленно возвращалась к той череде педагогов, как все более и более они, изображая небрежность, с видом усталой обреченности давали открытые уроки в наших краях. А что перед нами, провинциалами, жилы-то тянуть? А вот оно — ударило. Не в нас дело — это ваша жизнь, мы просто случайные зрители, безмолвные статисты, декорации на вашей сцене. Те, первые, каждый раз работали как на генеральной репетиции, а мы были те же.

И невольно вспоминались другие учителя, которые в маленьких студиях, несмотря на обстоятельства, способности учеников, возможности-невозможности, с полной отдачей делают свое дело без скидки на то, стоит овчинка выделки или нет. И Ломоносов может пешком уйти из деревни и построить университет, и сильнейшую школу на профессиональном олимпе может смыть волной, как куличик на песке.

Поклон Учителю, который делает свое дело так, будто он последний учитель на земле, и надо успеть.

«...по вашей вере да будет вам...»

ТОМАШ



Как я стала концертмейстером балета?

Если коротко, то от жадности.

Пришла дочерей записывать на танцы для маленьких, заполнила бумаги, отдаю и спрашиваю, мол, а занятия проходят под живую музыку или под запись? Под запись, отвечают.

— А хотите, я буду вам играть этот час и доплачивать оставшееся за детей?

— А вы концертмейстер балета?

— Да,— соврала я, прикинув, где балет, а где занятия для трехлеток, всяко справлюсь.

Дама, принимающая бумаги, замедлилась в движениях и посмотрела на меня поверх очков:

— Если вы будете играть, а мы станем вычитать за детей, то у вас еще и останется. Мы сейчас как раз ищем пианиста, пойдете к нам?

— Пойду.

У них не хватало концертмейстеров, и трехлетками не обошлось, меня попросили взять еще пару уроков. Дали самое простое — младшие классы, к ним прилагалась жуткая книга, по которой нужно играть изо дня в день. Но где заниматься? Я не сидела за инструментом несколько лет. Друзья посоветовали ездить в университет, там, на музыкальном факультете, есть огромный подвал, разделенный на сотню маленьких клетушек, в которых стоят инструменты — специально для студентов, открыто круглосуточно.

— Приходи после десяти вечера, тогда там ни души.

— А если выгонят?

— Ну и уйдешь себе, главное, разрешения не спрашивай, иди как будто студентка.

И я начала ездить по ночам. Иногда подвал был закрыт изнутри — тогда следовало звонить, чтобы сторож открыл, но я не звонила, а пыталась пройти через верх. Это было самое трудное — проскочить ярко освещенный верхний этаж с кабинетами педагогов, а внизу, в подвале, уже никого не было, учебный год только начался, студенты не усердствовали. Я находила себе коморочку и занималась.

Дурацкая книга продвигалась очень медленно, все в организме восставало против этой нелогичной приджазованной музыки. Самое обидное, что я точно знала, что поиграю немного это безобразие, а потом, как сориентируюсь, заменю, но выучить-то надо!

Иногда и верх был закрыт, тогда я возвращалась несолоно хлебавши. Как-то видела сторожа издалека — старый дед-ключник, нелюдимый на вид. Я тогда не знала, что он — одинокий человек, работающий почти круглосуточно, чтобы не сидеть дома, да и за работой скучать некогда. Он был и завхоз, и уборщик, и сторож, любил поболтать с зазевавшимися студентами, а по ночам разговаривал с портретами композиторов. Был в ссоре с Бетховеном.

И вот шла я однажды по светлому коридору и почти уже дошла до лестницы, чтобы шагнуть в спасительную темноту, как меня настигнул окрик:

— Стой!

Всё, попалась. Поиграть не получится, сейчас одна задача — чтобы отпустил. Обреченно останавливаюсь.

— Куда идешь?

Коряво отвечаю, что иду позаниматься. Английский был очень слабый, а когда тебя поймали за шкирку в неположенном месте, только ловкий язык и спасет, а его нет. Сторож услышал акцент:

— Ты сама откуда?

— Из России.

— О,— улыбнулся он,— соседка.

Недоуменно смотрю на него. Нет, не узнаю. Поясняет:

— Ты из России, я из Польши — соседи.

Не веря такому повороту событий, не могу выйти из оцепенения... внимательно смотрю на него. Точно, похож на поляка.

— А вы понимаете по-польски? — осторожно спрашиваю на чистейшем польском.

Он оторопел:

— Конечно, понимаю, еще бы я не понимал, а вот ты откуда?

— А я в детстве несколько лет жила в Польше.

Он приставил свою швабру к стене и вперевалочку подошел ко мне. Слово за слово, мы разговорились, о работе, о детях, о том о сем, долго говорили, но хочешь не хочешь, а надо идти, я сказала, что мне пора.

— А ты вниз собралась?

— Ну да.

— Нечего тебе там делать,— буркнул он,— пойдем со мной.

— Куда?

— Пойдем, увидишь.

Мы прошли по коридору до самого конца, он выдернул нужный ключ из большой связки, повертел в замочной скважине и торжественно открыл дверь. Почему-то мне

вспомнилась сказка «Синяя борода». Я улыбнулась, осторожно заглянула в класс и обмерла: там стоял огромный концертный рояль.

— Вот. Играй, сколько хочешь, хоть всю ночь. Сюда никому нельзя входить. Только тебе. Играй.

Я притихла, боялась шагнуть... на таком инструменте нужно играть хорошими руками и хорошую музыку, а мне сейчас ковырять куцие полечки... Все стены были увешаны афишами одной и той же женщины.

— Это ее кабинет?

— Да. И ее рояль. Она живет в Европе. Сюда никто не ходит, я прибираюсь здесь и проверяю датчики — тут у нее как центр управления полетом — увлажнители, осушители, сигнализация, носятся с этим роялем, не представляешь как. Я ни разу не слышал, чтобы на нем кто-нибудь играл.

Черный инструмент напоминал дракона, которого держали взаперти сто лет, опутав проводами, трубочками, пульсирующей сигнализацией. Я осторожно погладила его.

— Не бойся, играй,— улыбнулся довольный Томаш,— я пойду, чтобы тебе не мешать, займусь делами.

— А где вас искать, когда я захочу уйти?

— Просто уходи, и всё, в это время никого здесь нет, я вернусь закрою, не беспокойся. А завтра придешь? Я тебе открою — играй, сколько нужно.

— Спасибо.

Он ушел, я открыла крышку рояля и села... Мы присматривались друг к другу. Провела рукой по клавиатуре. Не холодная — в классе непрерывно поддерживали одинаковую температуру. Я не спешила... не хотелось беспокоить его всуе. Осторожно-осторожно, как извиняясь, что вынуждена прикоснуться, попробовала одну клавишу... другую... Красивый звук. А какие у него низы? Взяла октаву левой рукой, рояль мягко отозвался бездонным басом... и я начала играть. Это как оттолкнуться ногами от лодки и поплыть в ночном море — уже не остановиться и назад не вернуться, хочется только плыть и плыть вперед в черной воде. Музыкантам не нужно объяснять, что чувствуешь, когда не играл несколько лет и вдруг очутился за концертным «Стейнвеем» ночью в пустом здании, а с чем сравнить эти ощущения из мира немузыкантов, даже не знаю. Может, это как полетать на ковре-самолете над ночным городом, пока все спят, и время остановилось?

Я приходила почти каждый вечер и играла, изредка переключаясь на детский сборник,— извинялась перед роялем, мол, потерпи чуть-чуть, и принималась ковырять ненавистные ноты, но долго над ними не сидела. Томаш присматривал, чтобы дверь была открыта. Если я случайно закрывала, он заходил поболтать и выходил, оставив ее открытой, поэтому я время от времени откладывала свои ноты и специально играла польские мелодии, коленды, песни из польских фильмов, которые могла вспомнить.

В это время Томаш не заходил в класс, но я точно знала, что он здесь, сидит, покряхтывая, на полу около двери. Как-то заиграла «Kazdemu wolno kochac» — он тихонечко подпевал. Я пыталась вспоминать старые фильмы времен его молодости, но знала мало, поэтому импровизировала на музыку далеких советских времен, может, они напомнят ему свои? Однажды он попросил:

— А сыграй «Ta ostatnia niedziela».

— Я этого не знаю.

— Как не знаешь, ты играла!

— Я? Нет, не знаю.

Он запел.

— Так это же «Утомленное солнце»!

— Не знаю, как ты это называешь, но это «Ta ostatnia niedziela».

— Ну, может, это у вас так называется.

— Это у вас так называется.

— Я буду играть «Утомленное солнце».

— Давай. А я буду слушать «Ta ostatnia niedziela».

На том и поладили.

И, наконец, я сказала Томашу, что больше не приду — мы купили инструмент. Он насупился. Чтобы скрыть расстройство, заворчал:

— Да что там нынешние инструменты, знаю я эти дрова.

— Ну да, с этим роялем, конечно, не сравнить... Мы вообще-то электронный купили, все равно я могу заниматься только по ночам.

— Ну, железка — это вообще не считается... Знаешь, а ты приходи! Как захочешь поиграть — приходи. Я почти каждую ночь здесь.

— Спасибо, я, может, приду.

— Давай,— он оживился,— если я буду здесь, то вот в этот угол буду ставить швабру, ты как войдешь — увидишь. Если стоит, значит, я здесь, поищи меня. Вот сейчас сразу и поставлю, чтобы привыкнуть, а ты — увидишь.

— Хорошо.

— А если швабры нет, то на другой день приходи — я точно буду здесь.

— Спасибо.

Мы обнялись, тепло попрощались, я пошла.

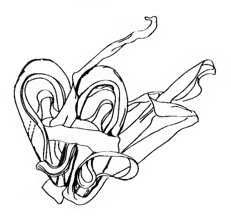
— Не забудь, он будет ждать тебя!

Я обернулась:

— Кто?

— Кто-кто? Твой рояль.

ПРО ПСИХА



Психов везде много. Но когда своих мало, то приглашают других издалека.

Как-то приехали к нам на неделю интенсивных мастер-классов два педагога — мужчина из Новой Зеландии, бывший премьер тамошнего главного балета, и дама из соседнего штата.

Дама — очень приятная женщина с французским именем и французским акцентом (я дала ей пятьдесят, оказалось — шестьдесят пять лет). Строгая, спокойная, с огромными карими глазами, очень понравилась. Звала меня «мадам»: «Спасибо, мадам», «Пожалуйста, мадам»,— забавно. Вела четко, сдержанно, но изнутри лучилась теплым ласковым светом, работать с ней приятно — очень музыкальна. Уже к середине первого дня мы работали ду-

ша в душу, она звонко кричала мне с другого конца зала: «Merci, madame!» — и посылала воздушные поцелуи.

Второго концертмейстера не взяли, поэтому предполагалось, что я буду играть по очереди то одному, то другому педагогу. С утра первого дня, пока ждали переодевающихся, в зал, покачивая бедрами, вплыл новозеландский премьер — высокий, старый, с пивным брюшком, лысый, за ушами начинаются и падают до плеч длинные седые кучеряшки. Вальяжно прошелся этаким любимцем публики, снисходительно покидал с барского плеча реплики девочкам, кого-то похлопал по спине, направился ко мне. Встала. Подходит, протягивает руку:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Представилась.

Он, медленно моргнув, разворачивается на сто восемьдесят градусов и отбывает в другой угол. Я онемела. Такого я еще не видела, это поперек всех правил и приличий. А он идет носом вверх, несет себя, великого и неотразимого,— центр вселенной! Такой придираться будет к каждой ноте, лишь бы перед аудиторией выпендриться. Это мы видали. Жуть какая. Ну всё... я тебе устрою кузькину мать... Я тебя к концу дня неврастеником сделаю, это мне — раз плюнуть. Ну это надо такое?! Участь его была решена, перспективы перед ним открывались самые мрачные.

Кончился урок с Мадам, пришла директриса, и начались выяснения, нужно мне играть следующий урок или нет. Странно. Выясняли-выясняли, директриса отзывает меня в угол и шепотом объясняет, что в любом случае заплатит за все часы, как договаривались, но она ничего не понимает, какой-то кошмар:

— Ты знаешь его?

— Нет.

— А он тебя?

— Думаю, нет. Я вообще никогда ни одного новозеландца не видела.

— Он странный какой-то... крутил-крутил, я ничего не понимаю... он отказывается с тобой работать.

— Как?! Почему?

— Не знаю. Не говорит. Сначала путал меня, то то, то это, ерунда какая-то, а потом говорит — не буду с ней урок вести ни за что, под диск работать буду!

Ничего себе...

— Может, он не умеет работать с концертмейстером?

— Не знаю, вообще ничего внятного не говорит. Он как будто не в себе. Странно, у него такие хорошие рекомендации! Я тебя хвалю, говорю — с ней легко, а он: «О-о-о! Знаю-знаю! А потом она будет кричать, что со мной работать невозможно!» А я ему: «Да она тишайшая, слова никому плохого не сказала!»

Я не стала признаваться, что как раз с утра уже мысленно превратила его в кровавое месиво. Но не телепат же

он? И что же он такое на уроках вытворяет, если все концертмейстеры на него кидаются?

Стоим, не знаем, что делать, и тут как раз спускается по лестнице Он. Директриса ему тревожно:

— Я уже предупредила концертмейстера, что «Репертуарный класс» играть не нужно, потому что вы не предоставили заранее ноты,— и испуганно смотрит.

Он, широко:

— Да, у меня нот нет, но, может, у пианиста есть?

Так... у меня в голове контакт не замыкается, я не понимаю, что от меня хотят, нужно играть или не нужно?

— Что вы танцуете на репертуарном?

— Чайковского. «Детский альбом».

— Что именно?

— «Детский альбом».

— Он большой, какие именно номера?

— Из «Детского альбома».

— Какие названия вам нужны?

— Не знаю, у меня только запись, там по номерам — № 1, № 2, № 3, но не исключено, что это просто моя нумерация на диске. Вы на слух сможете определить название?

— Да.

— И найти ноты?

Глубокомысленно даю понять, что это очень непростая задача (на самом деле этот «Детский альбом» за одну секунду можно найти в Интернете, не говоря о том, что у ме-

ня дома есть, да и просто по памяти половину этого альбома сыграю). Директриса тут же вставляет, что я могу не играть, что не обязана срочно учить, мы запрашивали ноты заранее, но нам их не предоставили.

Совсем не понимаю, что делать,— так сразу радостно кивнуть и отхалявить или изобразить, что сделала все возможное и невозможное, подняла в ружье всех московских и здешних знакомых, но мучительный поиск «Детского альбома» оказался безуспешным? Хочется сделать так, как нужно директрисе, но разобраться бы, что она хочет.

Тут ее кто-то отвлекает, а гость отзывает меня в сторону и начинает, захлебываясь, тараторить:

— Я сейчас вам поставлю диск, но, если не хотите — не играйте! Я привык, мне одному удобнее, не переживайте! Откажитесь, не играйте, не играйте! Я уже много лет без концертмейстера, мне так лучше, мой последний концертмейстер был русский! Украинец! Мы столько пили с ним vodka, vo-doch-ka, я за всю свою жизнь столько не выпил, он был ужасен, он так орал на меня, когда напивался, кошмар! (И хихикает.)

Я стою, окаменелая, и с ужасом смотрю на него, проникаясь горькой симпатией к незнакомому пианисту. Почему-то мне кажется, что я приблизительно знаю, что тот орал этому.

Он ставит свой диск, звучат первые номера цикла, но возвращается директриса, оттаскивает меня, мол, не надо играть, на что он отвечает, что и не рассчитывал. Похоже, все

довольны. Меня отправляют к француженке, а товарищ, довольный тем, что его освободили от меня, трудится под диск.

Урок с Мадам подходит к завершению, как вдруг распахивается дверь и входит Он, громогласно возвещая, что будет у нас публикой. Француженка сухо смотрит на часы:

— Еще пятнадцать минут до конца урока.

— Я уже закончил!

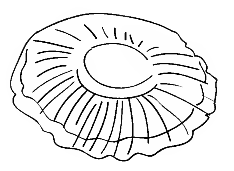
— Но еще пятнадцать минут работы.

— Ну и что? Я уже всё.

Она продолжает урок, а он, взгромоздившись на высокий стул около инструмента, начинает бурно корректировать постановку танца и острить. Она не реагирует. Тогда он широко разворачивается в сторону рояля, но, увидев меня, осекается на полуслове, слезает со стула и, семеня, быстро отчаливает в другой конец класса, где начинает править девчонкам руки (при живом педагоге!), а я всерьез озадачиваюсь — что ж такого сделал тот пианист, что этот даже смотреть на русского концертмейстера без судорог не может? Побил, что ли?..

Когда уходила домой, он еще работал, стоя у окна. Увидев меня, бросил класс и, вытянувшись, настороженно стал провожать меня взглядом. Немного прошла, обернулась: смотрит. Настолько он противный, что не хотелось связываться, а то непременно сделала бы вид, что возвращаюсь. Чтоб попугать...

А ВОТ И ФАУСТ!



Однажды на уроке заиграла вальс из «Евгения Онегина». Педагог радостно классу:

— Что это?

После того как были отвергнуты Шуберт, Шуман, Шопен и Моцарт, класс запросил подсказку.

— Это опера.

Я удивилась — ничего себе! Русскую оперу знает.

Класс, видимо, в операх похуже разбирался, поэтому вариантов не последовало. Преподаватель сказал: «Думайте!» — и пошли прыгать дальше.

Играю, вдруг вижу: из-под рояля, у моего колена, появляется голова и шепотом спрашивает: «Кто?»

Я бы, конечно, не сказала, но такие труды! Она проползла с той стороны на пузе, чтобы учитель не видел, и как тут отказать, мол, ползи обратно? Сказала. Тело, под гро-

мовые раскаты Чайковского, тем же путем, но ногами вперед, медленно поползло обратно.

Девица выбралась, встала в толпу студентов и крикнула:

— Чайковский!

— Нет, неправильно!

Пошли препирательства, и студенты стали настойчиво требовать ответа. Получили:

— Шарль Гуно, вальс из «Фауста».

Во как! (Хотя по настроению похоже.) Студентка, подняв бровь, укоризненно посмотрела на меня: я не оправдала ее ожиданий. Но поправлять ответ я не стала, чтобы не ставить педагога в неловкое положение,— пару месяцев буду обходить эту музыку стороной, они и забудут.

Попрыгали мелкие прыжки, урок подходит к концу, и преподаватель дает большие прыжки без премудростей. А первую диагональ он обычно исполняет со студентами.

— Пожалуйста, вступление.

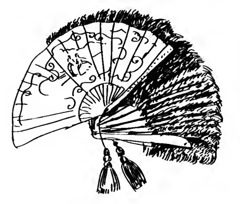
И я, естественно, выдаю вальс из «Фауста».

На первом прыжке он взмыл, как птица в небеса, а со второго рухнул наземь с хохотом:

— А вот и «Фауст»!

Следующее занятие он начал с объявления, что в прошлый раз перепутал вальсы из «Евгения Онегина» Чайковского и «Фауста» Гуно. Поблагодарил концертмейстера и попросил в течение урока сыграть им и тот и другой вальс, для закрепления.

ПРИНЦЕССА ФЛОРИНА



Поставили меня играть репертуарный класс. Ну кто его любит? Никто не любит, но делать нечего. Еще в июле я тормошила педагога на предмет — что она надумала ставить? Мне ж нотки заранее посмотреть надо. Ответа не добилась. Ну ничего, время есть, лето на дворе. Потом в конце августа полюбопытствовала — что? Опять безрезультатно. Ну и ладно — кому хуже-то? Буду сидеть ковырять с листа — пусть терпят. И вот случился, наконец, первый урок...

Дама для меня новая. Сама из Австралии, владела там балетной школой. Строгая, ведущий педагог в конторе, возраст — чуток за пятьдесят, серьезная дама с неизменно поднятым кверху подбородком.

Пока девицы подтягивались, я подошла к ней с вопросом — ну что, выбрали? Нотки есть? И сразу — подборо-

док резко в левый нижний угол, глаза в пол и начинает что-то быстро и невнятно говорить. Жизнеутверждающее «да» в монологе не просматривается.

Тогда я отключаюсь от нее, понимая, что нот мне нет. Ладно, буду искать сама, мне главное — точное название знать. Не дождавшись паузы, устало встреваю:

— Вы выбрали балет?

— Да. «Синяя птица».

— Я могу видеть мои ноты?

— Ой, не сегодня, я вам, конечно, дам «Синюю птицу», вот, у меня есть (всплеск рукой в сторону карниза), но это не совсем то, что мне нужно, я, конечно, дам вам прослушать, но это все равно не совсем то, что мы будем танцевать, то, что мы будем танцевать, мне уже выслали из Австралии, как только придет, я вам дам, там то, что именно мне нужно.

Так... Для меня что Австралия, что Марс, и, сколько оттуда будут идти ноты, я не знаю, а мне через неделю опять «это» играть. Ладно, найду сама, дело за малым, надо выяснить — что.

— Вы не можете мне написать — кто, что и в каком акте танцует? Я спрошу у подруги.

— Да, конечно, но у меня листочка нет.

— Вот.

— Ой, у меня ручки нет.

— Вот.

— Сейчас!

Уходит.

В коридоре долго разговаривает с родительницей. Урок вообще-то идет, поэтому приходится возвращаться. Попытка пройти мимо меня не удается, я мысль держу цепко:

— Вы не напишите мне?

— Да, конечно.

Возвращает листочек, на нем:

«Giils Variatioп».

Что-то я «Синюю птицу» подзабыла... Спрашивать — кто это — неудобно, да и ответ вряд ли мне поможет...

— А какой акт? А полностью вариация или часть? Она там одна?

— Там еще две кошечки танцуют. Вариант Кировского балета — они так до сих пор называют Мариинский театр.

— Кошечки танцуют в куче, или им потом отдельно играть?

— Это во втором акте,— и закипающая ненависть во взгляде.

— Хорошо, я постараюсь найти сама, к следующей субботе буду готова.

Растерянный взгляд:

— Я сейчас объясню... Мне нужно не совсем то... Точнее — то, но в другой версии, мне скоро придет из Австралии, я вам покажу — там эта вариация в другом размере.

(Пояснение для немузыкантов:

например, вам дают задание — взять стихотворение Пушкина, написанное ямбом, и прочесть его, но в дактиле. Ну там, слова переставить местами, если надо, или поменять на ваше усмотрение, лишь бы звучало, и смысл сохранился.)

— Как... в другом... В каком? А в каком было? (Эмоций нет, есть легкий шок, всякое движение в голове замирает.)

— Нам в том — легче. (Понятно, что не труднее.)

— А... выступать будете под запись или под фортепиано?

— Под запись, конечно.

— В каком размере?

— Ну... я еще не знаю... посмотрим... наверное, в том. Хотя, может, в оригинальном сможем... хотя я, знаете, не уверена, посмотрим.

Всё. Мой организм отказывается что-либо понимать, я уперлась рогами в стену. Когда учат медленно, потом ускоряют, я понимаю. Но когда учат в одном размере, а выступают в другом... Переучивать-то гораздо сложнее, чем учить. Мне срочно надо к подружке, гениальному московскому концертмейстеру, она играючи проблему разъяснит, может, это у них прописные истины какие, может, так и надо (хотя даже через океан я почему-то уже вижу ее недоуменно поднимающиеся брови).

— А у вас есть оркестровая запись в нужном варианте?

— Да, конечно! Мне ее уже выслали! Я вам все дам!

М-да... поскольку Австралия все-таки загадочная и малоизученная (мной) страна, то сразу и охотно верю. Ну мало ли? Какой-то дирижер сам перекроил, потом сам это подирижировал, записал.

Но тут вырисовывается другая проблема: ну найду я сейчас ноты, ну переделаю (почему-то решила: с $^{2}/_{4}$ на $^{3}/_{4}$), а там окажется такая версия, которая с моей не совпадет совершенно?! Я смотрю, от этих австралийцев чего хошь можно ожидать. Нет уж, лучше буду ждать. Но на всякий случай, так, без надобности, просто чтобы подружку повеселить, спрашиваю:

— А какой нужен размер?

— Медленнее.

Несколько секунд обдумываю услышанное.

— Медленнее, чем что?

— Чем было.

Лирическое отступление:

Музыкальный «размер» по-английски — «Timesignature». Если разбить эти слова по одному и перевести по-бытовому, то time — это время, a signature — характерная черта; подпись. Я прекрасно отдаю себе отчет, что балетные педагоги всех времен и народов часто неправильно используют музыкальные термины, поэтому никогда в их присутствии и не употребляю, но она же сама первая сказала!

— Так вы имеете в виду — темп?!

— Да.

Облегченно вздохнув:

— Тогда к следующему уроку я буду готова.

Она опять странно на меня смотрит, потом подходит и включает запись.

— Вот, послушайте, это — оригинальный темп (звучит пара тактов).— Она опускает рычаг, и флейта, чертыхнувшись, начинает басить помедленнее, оркестр вкрадчиво-злорадно ей подвывает.

— А это то, что нам нужно, пожалуйста, вот так.

— Так вот же у вас запись, что вы ждете из Австралии?!

— Это плохое качество, а там оркестр изначально играет в нужном темпе.

— А, понятно. Хорошо, я найду ноты и сыграю, как вам будет нужно.

Урок начинается, и на час измывательства надо мной прекращаются — каждый занят своим делом.

Через час.

Показала упражнение и говорит:

— А теперь прослушайте, пожалуйста, музыку.

Прослушали. Я сижу и в ус не дую, уже прикинула, что под это сейчас поиграть, и вдруг она мне:

— Пожалуйста, в этом темпе,— и показывает на магнитофон.

Делаю вертикальный взлет:

— Вы имеете в виду — ЭТО играть?!

— Да. (Улыбка младенца.)

— Я не запомнила. (Я и не запоминала!)

— Хорошо, тогда прослушаем еще раз.

Прослушали.

Ну ладно, там несложно, играю, ругаясь, вполне получается, в общем — держусь.

На очередной раз выдает:

— Теперь под запись разочек, там немного не так.— И губы поджимает!

Слушаю. Ага! У меня на пару нот разница, подумаешь, какие мы нежные...

В конце урока, уже мысленно разругавшись с педагогиней, подхожу с мрачной догадкой:

— Скажите, пожалуйста, а из Австралии вам высланы ноты и запись или только запись?

— Конечно запись, а зачем вам ноты, если есть запись?! Там хороший темп. Как только получу — тут же вам принесу запись, там все понятно!

...злорадной точности ради: это не был балет «Синяя птица». Это была вариация принцессы Флорины из «Спящей красавицы».

НАЯДА



Как у российских артистов в декабре — «елки», так у здешних педагогов и концертмейстеров летом — «балетные лагеря». На такие сезоны любят приглашать преподавателей издалека, причем наши едут в Тьмутаракань, а тьмутараканьские, соответственно, к нам (нет пророка в своем отечестве). Большая удача пригласить кого-нибудь из известных театров. Однажды и нашей школе повезло — на две недели заполучили девушек из Национального Балета Майами и Нью-Йорк-сити Балета.

Первая оказалась — прехорошенькая, даже красавица, возраст непонятен, молоденькая (обычно балерины выглядят старше, поэтому точно сказать трудно), типаж любимый баланчинский — удлиненные руки-ноги, высокая, жесты — глаз не оторвать — русалочьи замедлен-

ные движения, кошачья грация, выразительный профиль с выступающим подбородком, ресницы до бровей, копна роскошных волос до талии. Я тут же мысленно назвала ее Наядой.

А вот голос ее описать трудно, я думала, такого не бывает: помните, в старых американских мультфильмах и комедиях женский высокий-высокий голос в нос, таким еще мышей озвучивают? Вот такой. Не знаю, что имела в виду Природа, когда создавала эту Наяду,— предназначала ли ее для немого кино или для озвучивания диснеевских мультфильмов, и там и там, думаю, был бы успех, но если одновременно и слушать, и смотреть, то это непростое испытание для зрителя, к тому же, когда она что-то объясняет или хвалит кого-то, что происходит безостановочно, то фраза в конце взвивается вверх и рассыпается смехом — звонким колокольчиком. Поэтому через полчаса звуковой атаки я занервничала, хотя, конечно, если бы только в этом было дело, то и писать не стоило бы — ну мало ли у кого какой голос, был бы человек хороший, как говорится, драма тут в другом.

Перед первым уроком она подошла ко мне и сказала, что с живым концертмейстером никогда раньше не работала, поэтому могут быть какие-то нестыковочки, и, если мне что-то будет непонятно — темпы, незнакомые движения — пожалуйста, спрашивайте, объясню еще раз, на что я ответила, что я, напротив, вполне привыкла работать с

живыми хореографами, поэтому нестыковочек не будет. Мне часто приходилось играть педагогам, которые работали только под под диск, таких сразу видно, но эта превзошла всех.

Темпы — невнятны. Да и зачем, собственно? При диске педагог отвыкает диктовать темп и в итоге перестает чувствовать темповые нюансы. И это не всегда вина педагога — просто, чтобы подобрать нужную запись под поставленные задачи, ему приходится долго готовиться перед каждым уроком, перебирая тонны дисков, что отнимает время, да и на уроке постоянно менять диски и обременительно, и снижает темп урока. В итоге, помыкавшись, опытные педагоги привыкают подгонять движения под один диск, а неопытные обретают непоколебимую уверенность, что темпы все одинаковые и нечего заморачиваться: тандю, оно и в Африке тандю. Поэтому, работая с такими педагогами, приходится опираться на собственный опыт и подгонять темп самой.

Еще одной характерной чертой «искусственников» является то, что они влегкую могут закончить свое упражнение посередине фразы или где угодно, потому что диск не ворчит и не строит страдальческие гримасы, он все стерпит. А если при играющем концертмейстере начнешь заканчивать комбинацию супротив музыкальной логики, то рано или поздно почувствуешь флюиды ненависти и раздражения, мощной волной пульсирующие со стороны ро-

яля, вот волей-неволей и начнешь просчитывать. К тому же редко кому придет в голову давать новое упражнение, пока пианист еще не закончил играть предыдущее, а за диском не набегаешься, поэтому педагог останавливает где угодно, да и по классу, особенно по окончаниям упражнений — размазанным или чаще отсутствующим, всегда видно, подо что они воспитаны — под живую музыку или под консервированную.

Окончить упражнение Наяда могла где угодно, впрочем, с кем не бывает, но если с моим педагогом изредка такое случится, он всенепременно отметится-извинится взглядом или жестом, мол, «извините, спорол-с», и сразу понятно — имеешь дело с грамотным человеком, и не ошибся он вовсе, а отвлекся, мало ли, а эта барышня с настойчивой регулярностью заканчивала на совершенно любой доле — на второй, на пятой, на какой угодно. Это как обухом по голове. Ну на любой уже понять могу, но на предпоследней?! Неужели не слышно?! Секунду нельзя подождать до конца фразы? Я чувствовала себя как побитая, с трудом сдерживая раздражение. За час, так и не поняв логику ее заканчиваний, я просто ждала команды, что «всё». Причем после ее внезапных «всё», сопровождаемых ласковой улыбкой, я еще из вежливости выдавала какое-нибудь завершение: трынц-трынц или ти-ти-бум, но иногда она тут же начинала говорить! Чувствую, что терпение мое скоро лопнет, буду просто резко отдергивать руки от кла-

виатуры, может, хоть тогда до человека дойдет, что что-то не так? Сразу было неудобно, все-таки она первый раз, не хотелось позорить.

Печальная ирония судьбы в том, что на немузыкальных педагогов бессмысленно сердиться — они такое делают не по неаккуратности и не по злобе, они действительно не слышат. Это как ругаться на слепого: «Ты что, не видел яму на дороге?!» Конечно, не видел, иначе бы обошел. Поэтому часто педагоги искренне начинают злиться на недовольного или «неудобного» пианиста. Вы спросите: «А что, научить нельзя?» Натаскать можно, приучить обращаться аккуратнее с музыкой — можно, развить заложенные способности — можно, но вы можете несколько лет биться с ученицей, прививая ей музыкальность исполнения, а однажды придет другая, никогда не занимавшаяся музыкой, и сделает все идеально. И объяснить вам, «почему» она делает именно так,— не сможет, потому что не понимает, как можно иначе.

Временами Наяда пыталась мягко объяснять что-то про акценты в батманах, но сама давала такие запутанные комбинации, что было непонятно что где, я просто перестала смотреть на ее показ и сидела, тяжело глядя в пол, стараясь отключиться от тембра ее голоса. После одного пространного разъяснения она вдруг неожиданно развернулась ко мне и ласково пропищала:

— Правильно ли я говорю, не путаю музыкальные термины?

Я оторопела, потому что давно не слушала ее бред и понятия не имела, о чем речь. Пришлось кивнуть, мол, правильно, все равно там уже ничего не испортишь и не поправишь, пусть журчит. Была она вся нежная-нежная, на вздохах и ахах, соткана из восхищений, чистый эфир. Как сделает какой-нибудь глубокий томный наклон с пор де бра — всё, думаю, уже не встанет. Глядя на это, пыталась себе представить, каким будет ее адажио[1]?

Адажио не было совсем. Ну правильно — у нее весь урок адажио.

Задала она одну забавную вещь — гранд батман велела делать с закрытыми глазами, объяснила так: порой на спектакле все вокруг черно, зрительный зал — темное месиво, кулисы — чернота, в глазах темнеет, ориентиров нет, а танцевать надо! И ее педагог всегда заставляла прогонять сложные места с закрытыми глазами. Такая вот метода. У меня тут же стало вертеться на языке насчет «а с закрытыми ушами?». И вообще не понимаю, как она танцует, единственный выход, который вижу,— подводить слабый ток под сцену, чтобы на счет метроритма ориентировал.

[1] *Адажио* — очень медленное упражнение, исполняется под медленную музыку лирического характера.

На слух не работает. Но это я, наверное, уже просто необъективна, может, и хорошие вещи она советует, но после двух часов медленного измывательства над концертмейстером становишься пристрастным. Утешила себя мыслью, что эта Наяда не навечно, ни за какие коврижки не согласилась бы постоянно с ней работать, здоровье дороже.

Но про все это не стоило бы и рассказывать, если бы не было второй танцовщицы, преподающей в параллельном классе. Жизнь любит, забавляясь, выкидывать изящные каламбуры. На следующий же день меня забрали от Наяды и поставили играть другой балерине. Я обрадовалась — хоть передохнуть дали от этого безухого колокольчика.

Александра была совсем другая, хотя возраст у обеих, думаю, одинаковый, обе еще танцуют, но эта — невысокая, резковатая, в драных джинсах, хвалила редко и задавала комбинации очень трудные, но логичные и потому запоминаемые. Часто повторяла: «Не будьте такими серьезными, это всего лишь жете/фондю/...» Мальчиков укладывала отжиматься.

Первый раз мне встретился американский балет «в чистом виде», во всем, в абсолюте. Обычно у педагогов смесь: бывает, на одном уроке поделают и так и сяк — и по-русски, и как Баланчин велел. Но большие прыжки все-таки почти все прыгают привычно, «по-русски», а эта прямо эталонная — всё вниз на сильную долю.

На первом уроке, на первом упражнении, когда класс сделал половину упражнения и перевернулся на другую ножку, она вдруг остановила:

— Девочки! Посмотрите, какой у вас концертмейстер! Она же с вами... разговаривает! Она же все подсказывает, отвечайте ей! Вы же отстаете. Любое самое трудное или идеально выполненное движение не имеет смысла, если оно не в музыку. Это же не спорт, где главное — тренированное тело, это балет! Слушайте музыку! Все сначала.

И как будто не было урока с Наядой, все бесповоротно изменилось. О музыке, о соответствии движения музыкальной фразе, об эмоции она говорила постоянно, не давала делать по-своему, останавливала. Девицы взбрыкивали:

— А я могу еще подержать!

Та тут же гремела:

— Ты НЕ МОЖЕШЬ ничего держать, если музыка уже пошла дальше. В лучшем случае это будет выглядеть ошибкой, в худшем — глупостью.

Она много красиво и правильно говорила о музыке и движении. Бальзам на душу. Я слушала ее слова как балладу об утраченном рае. Ах, как все это на моем языке...

Она забавно рассказывала о своем концертмейстере из детства. Он был из Югославии. Педагог была строга на предмет музыкальности, но «стараться» и «получаться» — вещи разные, и, когда класс не вписывался, музыкант вскакивал, орал, что он не может играть в таких условиях, швы-

рял на пол ноты и в гневе выходил из класса, объявляя себя при этом совершенно избитым, и на урок уже не возвращался. Далее занятие продолжалось под счет, другого выхода не было. (Тут уж я совсем тяжело вздыхала — позволяют же себе люди! А я только тихо ворчу себе под нос.)

С сожалением расставалась с Александрой. Неделю отыграла ей на одном дыхании — на вдохновении, на подъеме, доставала из закромов все, что могла,— щедро швырялась эмоциями — от буйных страстей до строгой молитвенности, ловила и повторяла каждое ее движение. Впереди ждала занудная неделя с Наядой. Главное — не подзаснуть или не ляпнуть чего-нибудь. Ей и похвалить-то меня не за что, мы обитаем в непересекающихся плоскостях. Балерина и музыкант... ничего общего.

Но на следующей неделе с Наядой произошли странные изменения: — заканчивала аккуратно, если и поперек, то посередине — сойдет; — произносила слова: «И держим баланс до конца фразы». Тут уж мы без нее определяли, где у нас «конец»; — свое самобытное «всё!» заменила на обычное «спасибо» и «спасибо большое»; — с завидной регулярностью после «спасибо» добавляла в мою сторону «замечательно» или «восхитительно», никакой связи этих слов с моей игрой не просматривалось; — в паузу перед пуантами подошла и ласково поговорила со мной за жизнь; периодически сама задавала темп; — один-единственный раз, когда

ее конец пришелся на мою вторую долю, а это было очень заметно, она дернулась и очень расстроилась (в прошлый раз расстраивалась только я); — в конце забабахала концертмейстеру такой пафосный реверанс, что я подумала — сейчас хором запоют «Happy Birthday».

Минут через десять после начала класса я, морально приготовившись весь урок цедить ум-ца-ца, усовестилась и начала играть прилично. Причину столь неожиданного преображения Наяды заподозрила в следующем: у нас наверху есть балкон-комната, где сидят родители, когда хотят посмотреть класс. Или преподаватели. Оттуда виден зал, а из зала ничего не видно. Там во время урока сидели мои дети. Вероятно, в прошлый раз кто-то из преподавателей туда заходил и имел удовольствие все это видеть? Во всяком случае, я ни единого слова никому про Наяду не говорила. После урока спрашиваю детей:

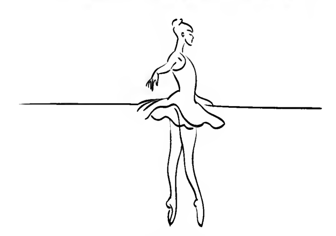
— К вам кто-нибудь приходил во время занятия?

— Да. И директор несколько раз приходила, но мы себя хорошо вели, не шумели.

— Молодцы.

Приятно, что не одна я заметила безобразия танцовщицы. Наяда поправила не только свое качество работы, начала считать и вообще все делала аккуратнее, но и с пианистом стала ласковой. Уж не знаю, что наша директриса ей наговорила, но на ум радостно пришел кот Матроскин со своим: «И птичку нашу я попрошу не обижать!»

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ЗИМЫ



Я когда-нибудь убью какого-нибудь преподавателя балета.

В быстрой, но извращенной форме. Не знаю, кто будет тот крайний, возможно, это будет случайная жертва, но, уважаемые преподаватели, если вы увидите, как по улице ведут всклокоченную девицу, закованную в наручники, на всякий случай — отойдите подальше, ибо я, не исключено, учуяв преподавателя балета, могу внезапно кинуться и мощным рывком завалить еще одного. Берегите себя...

...Дав согласие отыграть концерт восьмого декабря, я выставила только одно требование: предоставить мне список музыки или нотный материал ко Дню благодарения (двадцать второе ноября) — это каникулярная неделя, а

там меньше двух недель остается, и неизвестно, чего они там насочиняют,— мне учить надо, а то и ноты искать. Добавим к этому, что многим классам, выставленным на сцену, уроки играю не я, поэтому не буду знать, что там происходит.

Итак, грозно выдвинув условие и получив решительное согласие, я тут же о нем намертво забыла. Однако...

16 ноября

Приходит электронное письмо, в котором директриса напоминает преподавателям, что ко Дню благодарения список должен быть докомплектован. Тем, кто музыку сам выбрать не может (на уже поставленный номер!), концертмейстер поможет сориентироваться.

Вот предварительный список:

1. Класс А: Вальс из «Спящей красавицы»
2. Класс А: Полонез из «Спящей красавицы»
3. Класс В:
4. Класс В: Фея золота из «Спящей красавицы»
5. Класс С: $^{12}/_{8}$, мягко
6. Класс С: фрагмент
7. Класс С:
8. Класс D: Диск
9. Вариация Флорины

10. Мужская Вариация
11. Будет добавлено позже

Вот такое вот руководство к действию. Я тут же делаю вертикальный взлет до потолка:

— Полонез?! Из «Спящей»?! Да мне год на него надо, чтобы выучить, никак не меньше, судите сами:

— первые полгода свыкаться с мыслью, что учить его все-таки придется, и в то же время чутко ловить переменчивые настроения преподавателя — а может, обойдется? Вкрадчиво объяснять педагогу, что на сцене под оркестр куда лучше, чем под пианинку. В руках держать диск, готовый к употреблению;

— со второго полугодия начать чувствовать себя глубоко несчастной и тяготиться тем, что пора бы учить, но ничего, время есть.

— через два месяца сесть, попробовать и, совсем расстроившись, утвердиться в решении, что это все надо перекладывать, больно уж фактура мудреная. И вообще Чайковского играть... там фортепианную-то музыку играть несладко, а уж оркестровую...

— по прошествии еще некоторого адаптационного периода, перед тем как сесть за переложение, еще раз сходить к директрисе с диском и горячей убедительной речью. Рассеянно уточнить оплату.

Ну уж, если и это не поможет, тогда уже не знаю, тогда надо сесть и учить. Но за две недели?! Это решительно невозможно!

19 ноября

За выходные раздобыв полонез в частности и всю «Спящую» в целом (хошь — на mp3, хошь — на CD), иду к директрисе. То, что играть его не буду,— это необсуждаемо, проще уволиться, балетных студий в округе навалом. Но начинаю издалека:

— Вы какую часть полонеза имели в виду? Весь? Он огромный.

— Ой, нет, полонез совсем не надо, мы не успеваем. Это я так, на всякий случай вписала, ну вдруг?

От таких «вдруг» инфаркты вообще-то случаются.

Тогда перехожу к менее драматической части — что такое «Диск» и «$^{12}/_{8}$, мягко»? Не знает, но обещает узнать.

Нет, про $^{12}/_{8}$ я не то чтобы переживать даже не стала, я вообще ни на секунду в ту сторону не задумалась, уж это мы проходили. Это может быть:

— $^{2}/_{4}$;

— $^{3}/_{4}$;

— $^{6}/_{8}$;

— посчитаны все четверти правой руки такта;

— посчитаны все ноты в обеих руках первого такта;

— сказано по памяти о некогда запомнившемся произведении;

— перепутано произведение.

Тут на слово верить нельзя, тут самой смотреть надо.

Звоню подруге-концертмейстеру со зверским стажем, на жизнь жалуюсь, а ей все нипочем, у нее всегда так, она и бровью не ведет. Спрашиваю:

— А вот тогда скажи, Юленька Аркадьевна, как опытный товарищ начинающему: какое произведение я должна предложить под характеристику «$^{12}/_{8}$, мягонько»?

И она, не моргнув глазом, запевает:

Ти-иихо вокру-уут,
Только не спит барсу-уук...

Вот что значит — профессионал!

20 ноября

Начинаются каникулы. Все в природе затихает. Я учу фрагменты из «Спящей красавицы».

26 ноября

Урок. Прихожу с готовыми (типа делать мне было нечего на выходных) вальсами из «Спящей» — Феей золота

и заунывным падекатром этих фей. В муках творчества (не моих, конечно), к середине урока выясняется, что музычка не очень подходит к хореографии (сплошал тут Чайковский).

— Давайте попробуем что-нибудь другое.

— Как скажете.

Открываю кучу нот, пробуем и то и это, все что-то не очень. В конце предлагаю попробовать сама: они под раз-два-три делают, а я внимательно записываю — на какой доле прыгнули, на какой крутанулись, где ножку подняли и где основная масса ее опустила. Ставлю циферки эти перед собой и начинаю импровизировать в человеческой тональности.

Полный восторг:

— А что ж вы сразу нам это не поиграли?

У меня, как у быка, начинают наливаться красным глаза: ну вот зачем было нервы трепать Чайковским?!

Вторую вещь начали, но оказалось, там еще конь не валялся. Потыркались-потыркались, время вышло: «Ладно,— объявили,— подумаем и доставим в следующий раз!», «Ладно,— думаю про себя,— вам же хуже, мне все равно, что импровизировать, хоть „отсюда и до завтра“, но так бы я вам подобрала — пальчики оближешь, а так получите что-нибудь банальное с ходу, обидно, конечно, но я не могу бороться со стихией».

27—28 ноября

Начинаю в письменном виде настырничать насчет «Диска». Этапы познания:

— Диск с нужной музыкой оставлен вам на столе.

— Нету.

— Там танец цветов.

— Вальс в смысле? Из «Спящей»?

— Нет. Просто вариация.

— Кто автор?

Поиск остановлен, ответчик исчезает. Опять дергаю директрису и в итоге — прихожу на урок по цветам.

28 ноября

Милая молодая преподавательница, в глаза не смотрит. Показывает мне издалека диск, говорит — это балет «Фестиваль цветов». Внутренне готовлюсь к блиц-борьбе на тему «Играть не буду, заменю!». Всем своим видом убиваю в педагогине всякую надежду на снисхождение. Ну действительно, в самом деле?! Это ж дома долго слушать неизвестно что, записывать и учить! А пылесосить кто будет?! Дала бы заранее диск — все бы получила, а сейчас нет уж, дудки!

Но оказывается, она и не собирается давать мне диск домой, вообще из рук боится выпускать. У нее даже нет

второй копии! Она рассчитывает (с чувством выполненного долга) проиграть его пару раз, а далее — извольте. Начинаю закипать — убивать буду на месте. Вот вольно ж людям чужое время тратить!

В принципе, я уже и так готова обоснованно разбить в пух и прах то, что она там наприготовила, но для проформы надо сначала выслушать. Ладно... давайте... ставьте-ставьте. Мысленно закатываю рукава.

Включает музыку и, о удача! Да я сто лет играю эту милую вещицу, услышанную на каком-то диске. Просто никогда не знала, что это. Да-а, так везет нечасто. Кровопролитие отменяется.

Скромно, как Джеймс Бонд, подхожу к роялю: «Это легко»,— и изящно выдаю эту штучку, причем, заметьте, в той же тональности (до мажор, кстати, но это так, для понимающих).

Она обрадовалась, как дитя, и запросила еще адажио и прыжки, но даже перебирать не стала, а с лету согласилась на то, что первое приходило мне в голову. Так что тут без проблем.

30 ноября

Получаю три листочка нот, три фрагмента («Флорину» отменили — не готова), из этих корявых местных сборников в полуимпрессионистских, полуджазовых тонах. Ужа-

саюсь вслух: «Зачем же под такое танцевать?!» Училка обижается. Предлагаю заменить — реагирует отрицательно и неадекватно нервно. А вот тут нужно делать лирическое отступление...

Был у нас концертмейстер, парень лет тридцати пяти. Я вообще-то меняю имена на вымышленные, но этому не буду. Собаке — собачье имя. Звали его Джесси. Летом он от нас уехал далеко и, надеюсь, надолго — получил позицию в «Бостонском балете» (мои соболезнования «Бостонскому балету»). Играл он хорошо, но совершенно сам по себе, без какого-либо соотношения с окружающими. Он вообще-то и в жизни на всё, что не Он, смотрел с усталым удивлением: зачем вы здесь? Основное времяпровождение — это ходить по начальствам и нудить, что ему нужно повысить оплату, дать больше часов, назначить старшим концертмейстером и Первой Красавицей Королевства. Чтобы оттенить собственные совершенства, вдохновенно очернял других концертмейстеров. Но это только при разговорах с начальством. При разговоре же с коллегами он ничего такого не говорил, а исключительно жаловался. Мне, например, на то, что хочет играть мои часы, а их играю я, и как это плохо и несправедливо.

Прошлый отчетный концерт играл он, потому что я совсем-совсем не могла, и меня попросили подобрать им фитюльки по страничке на их галопы-полечки. Зная, что играть буду не сама, я расстаралась и нашла самые про-

стые и удобные для игры пьески. За месяц до концерта отдала директрисе. Он отыграл прогоны и генеральную, но на концерте случилось необъяснимое: он заимпровизировал всё. Детям. Нон-стопом. Меняя темпы, размеры, характер. Выдал крутой джаз. Остановился, только когда сцена опустела. За кулисами оттаскивали трупы учителей, старший преподаватель разрыдалась в голос и больше никогда с ним не разговаривала (не думаю, что он заметил). Лирическое отступление закончилось.

Именно эта рыдавшая преподавательница и дала мне три листочка и не разрешила поменять ни одной ноты. (В глубине души я ее понимаю, но от этого не легче.)

Начались страдания с этими нотами. Ни мелодии, ни стабильной фактуры, текст несложный, но напрочь отсутствует логика, неудобно написано. С души воротит — не могу начать учить.

Назавтра стали с классом работать над этими вещами, играла через одну ноту на третью.

Первая вещь — самая дикая. Две, максимум три ноты в вертикали, но бемолей на эти три ноты, как минимум, по четыре; мелодическая мысль неясна совершенно; оторваться — поглядеть на класс не могу — пытаюсь играть по нотам. Это моя самая ненавистная вещь.

Вторая не лучше. Вернее, она ничего, но из разряда переливающихся волн пор де бра, а училка попросила запиццекатить, убрать легато, сделать остренько — у них

пике́. Спрашивается: а что, для пике́ нет музыки на пике́?! А в данной вещи сплошные замирания-зависания, в том числе в левой руке, и классическая интонация ламенто со своими придыханиями. Я, конечно, пытаюсь изображать пике, но мгновенно сползаю на вздохи-ахи. В общем, сплошное мучение. Ну и темп, конечно, соответствующий пике.

И последняя вещь — регтайм, а к ним у меня отношение особое. Я комплексую здесь играть джаз и все такое. У местных он в крови, и играют они это здорово и с любыми наворотами, поэтому я принципиально избегаю подобных вещей. Но с преподавателем не поспоришь — хотят регтайм. И тут она требует такой быстрый темп, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А у меня, кстати, есть «Сборник золотых регтаймов», и начинается он, ни много ни мало,— белой страницей, на которой одна-единственная цитата Короля регтаймов:

«Регтайм не играется быстро.

Регтайм играется медленно».

С. Джоплин

Золотые слова! И я, мысленно жалуясь Джоплину на его отечественный беспредел, несусь черт знает куда в бешеном темпе, то есть начинается для меня неделя глухого раздражения. К тому же схема регтайма:

AA'BA'

AA'BA'

АА'.

Я начинаю считать и путаться — что сыграли, что нет, где А, где А'. Пытаюсь смотреть номер: на пуантах, с котелками на голове, то по одному, то группой. Надо же как-то разнообразить? Хотя бы оттенками?! Считаю, пытаюсь запоминать, что у них где, но сплошные повторения, все время забываю, где я. Спросила разрешения импровизнуть маленько. Получила резкий отказ. Ладно, сижу считаю, злюсь: вот стоймя стоят довольно долго, за поля шляпки игриво держатся, бедрами слегка поводят, что это? Потом ка-ак пойдут всеми параллелями вперед — тут же надо мощи поддать, если такое движение на зрителя, да после такого затишья?! Спрашиваю — давайте здесь усилю?

— Нет!!! Пожалуйста, по тексту!

Ну ладно. Чувствую себя по-идиотски. Все-таки «звуки му» я здесь издаю, а звуки получаются ни к селу ни к городу. Ну ладно, по тексту так по тексту. Буду себе под нос считать, как балерина...

1 декабря

Урок у молодой училки. Долгий творческий процесс на тему «здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали».

Последние двадцать минут поработали над первым фрагментом.

Над вторым.

Над четвертым.

Урок закончен.

— Минуточку, а где третий?

— Его делает другой педагог.

— Замечательно, но когда будут ноты?

— Она вам принесет.

— Сомневаюсь. Я не буду играть третий, уйду за кулисы, и всё! Вычтите третий из оплаты.

— Подождите, я сейчас!

Убегает. Возвращается с премерзким сборником. Его играть-то коряво, танцевать еще хуже, а уж слушать-смотреть и вовсе.

— Она сказала — выберите что-нибудь отсюда, на тон лие.

— Сколько играть?

— Не знаю... ну пока танцуют.

Хорошо сказано, черт дери! А то обычно рассусоливают — шестьдесят четыре такта, сто тридцать два, а тут — коротко и ясно. И главное — понятно.

Сборник в руки не взяла, строго отчеканила:

— Будет «Ноктюрн» Шопена из «Сильфид».

Она не рискнула возразить.

3 декабря

Объявлен «снежный день» (это когда идет сильный снег, все государственные учебные заведения не работают, чтобы люди дома сидели, а не по опасным дорогам разъезжали), стало быть, урок, на котором планировали «доставить недоставленное», не случился.

Следующий мой рабочий день восьмого декабря — на сценической репетиции (в обед), а потом концерт (в ужин). Впрочем, я работаю в этой школе два дня, и мое присутствие не гарантия закрепления чего-либо, потому что они в остальные дни свободно меняют что хотят и как хотят, а потом на мое недоумение удивляются: «Мы же это уже сделали?!»

4 декабря

Получаю письмо от директрисы:

«У нас нет света для пианино. Тебе он нужен? Ты не можешь принести свой?

А тебе нужна подушка для пианино?»

Ну, первая реакция — раз нет света, то подушка — хорошо, но на самом деле — что это значит? По их дурацким нотам я и со светом не могу играть. Без света даже, навер-

ное, и лучше. «А-а,— скажу капризным голосом,— не видно ничего»,— и буду играть, что хочу. Но на самом деле грустно: темно — ладно, но если низко...

7 декабря

Получаю расписание на завтра:
Утренние занятия сняты;
12:30 — 14:30 — класс и прогон в школе;
15:30 — 17:30 — генеральная в зале;
19:00 — концерт.

После всей этой круговерти появляется навязчивая мысль: вот а что зазорного в том, чтобы попросить у пианиста, например, помочь просчитать? Или с фразировкой что где разобраться? Это же совсем другое образование. Танцор не всегда видит то, что для музыканта аксиома, он даже не подозревает, насколько безграмотными и смешными видятся его требования со стороны.

Узнаете ситуацию: преподаватель просит для выступления «это» играть отсюда, потом «вот то» — сюда, здесь — меньше ноток, там — больше ноток, сюда эту темочку, потом ту, темпы здесь не такие, а вот эдакие, а сюда под это — вон то? И тут пианист начинает хлопать глазами и пытаться возражать здесь, и здесь, и здесь по нарастающей, и говорить испуганно: «Так нельзя!»

Как обычно реагирует преподаватель? Правильно — настаивает и губы дует. И, когда в итоге все лицезреют это безобразие, и с большей или меньшей очевидностью вылезают нестыковки и несуразности, потому что здесь, как в точной науке, чудес нет, что делает педагог? Правильно, под нос цедит (а то и громко, в меру темперамента), что все бы ничего, но музычка чего-то негодная, и губы поджимает. Кто всегда крайний?.. Правильно. Поэтому и бесилась я всю неделю: они сами не знают, что хотят, репетиций нет, все сыро, а мне все равно ПРИДЕТСЯ это «принеси-то-не-знаю-что» сыграть, а потом полюбоваться на поджатые губы. А сделай вы заранее свою работу качественно — уж свою качественную я гарантирую. К тому же заблуждение считать, что концертмейстеру не надо репетировать с классом, а достаточно дать ноты. Сыграть-то он сыграет (хотя смотря что), но вообще-то мы идем в связке, и надо бы попробовать пройтись вместе. Пианисту — надо. Ну а уж о танцующих, ни разу не репетировавших с концертмейстером, а только в день концерта, и говорить нечего.

В завершение скажу, что в процессе этого всего между директрисой и старшей преподавательницей пробежела кошка, в итоге — дамы держат военный нейтралитет, а у меня на руках список, во многих графах которого значится:

№ 3 — Что-нибудь, трижды с проигрышем — 8,

№ 6 — Импровизация, уточнить переходы,

№ 7 — Мужская вариация — что в финале?
Завтра концерт...

8 декабря

12:30. Урок

Конечно, меня любезно предупредили, что поскольку мне играть генеральную и концерт, то в школу я могу не приходить, но я сходила и не пожалела — узнала много нового о своей программе и разыгралась. Урок прошел на подъеме. Затем старшая, сколько смогла, поработала свои номера и почистила чужие. Некоторых групп не было, и для меня так и осталось загадкой — подо что они там пляшут.

Были приятные неожиданности. Например, номер со шляпками оказался очень эффектным и здорово оттенял классическое окружение. И то долгое стояние с покачиванием бедрами тоже оказалось оправданным: в это время наш единственный молодой человек кренделя всякие выделывал, очень мило.

Мой ненавистный номер, который я боялась играть, претерпел значительные изменения — был разительно ссажен темп. Не успела я нарадоваться на то, что теперь успею все знаки разглядеть, как попала из огня да в полымя: там та-ак медленно, что мысль останавливается, и удержать ее нет никакой возможности, мелодии-то прак-

тически нет! То есть начнешь не спеша разглядывать следующий аккорд — ать! — уже опоздала. Или подумаешь: «Да времени куча, дай посмотрю, чего там у них?» — развернешься, потом кубарем назад и уже не вписываешься в эти дубль бемоли. Ну и, конечно, все время невольно ускоряешь — какое-то божье наказание, а не номер.

Или просят «Фестиваль цветов». Там четыре, с позволения сказать, части. И все подай в разных темпах. Это я помню. Но насколько что куда двигать — не помню! Больше недели прошло с тех пор.

Где кому какая импровизация, конечно, тоже не помню, да и в лицо девиц не знаю, ассоциаций нет, не работала же с ними. Поэтому порадовалась, что пришла, записала, где кому что.

Мужскую вариацию так и не видела — мальчик ушел.

В номере, который ставила директриса, выясняется, что поставлено неточно — полфразы болтается, но старшая не выправляет, а переходит к следующему номеру, и злорадный огонек появляется в ее глазах.

Ко всему прочему добавляют пару новых номеров, и в конце:

— Нам реверанс, пожалуйста.

Начинаю. Останавливает:

— Не такой. Быстрый: вбежать, поклон на два и два, и убежать.

Вона! Какие нынче реверансы!

15:30. Генеральная

Что сразу порадовало: зал. Кресла расположены полукругом от сцены, и в этой полосе отчуждения сбоку, как дорогое украшение, стоит рояль. Сама сцена невысокая, на уровне крышки рояля, то есть играешь, а они перед тобой как на столе, да с хорошим освещением. Если без нот — просто сидишь, прямо смотришь на них, голову задирать не надо, если по нотам играешь — все равно постоянно они в поле зрения; даже если совсем сфокусироваться на тексте, основное движение — видно.

Сначала куролесил народ из модерна, а потом на сцену высыпали наши...

Выходит класс, который я видела последний раз две недели назад, помнится, там все шло под импровизацию, и на тот момент было недоставлено.

Начинаю заход на гранд аллегро. «Сейчас,— думаю,— по ходу разберемся». Директриса останавливает:

— У нас не это, у нас Чайковский, «Фея золота»!

— Нет!!! Вы же сняли ее!

— Как же сняла?! У меня и в списке вот написано — «Фея золота». Нам «Фею золота», пожалуйста! У вас что, нет нот?!

Да какая, к черту, фея?! Ноты неизвестно где! Вторую часть совсем не помню, если сгонять домой и распечатать по новой, то что, без репетиции играть? И вдруг озарило:

— Так вы же сняли ее, потому что вторая часть никак не сходилась!

— Точно!

И она делает большие глаза:

— И вы для нас тогда отобрали три вальса, для трех групп!

Я холодею. Ничего не помню... Совсем ничего...

— Вы забыли?!

Все забыла... совсем все...

— Ну ладно (нервно), играйте что-нибудь.

Ну для «что-нибудь» мне надо хотя бы одним глазком посмотреть, что там у них. Начинают выстраиваться, и меня как током шибает: вспомнила! Это — Даргомыжский! Точно, так и есть, отобрали три разных вальса, где теперь их искать и что за чем идет? Последний, вспоминаю, Шопен. Делаю рывок к сумке — нет на месте, значит, точно — я его куда-то переложила! Уже совсем потом всплыло: не доделали они эту вещь до конца и сказали — решим в следующий раз, поэтому ноты я не переложила в нужную папку, а потом случился «снежный день», все забылось. Но об этом я не помнила и сидела совсем убитая — так подвести! Стыдно ужасно. Вальсы эти я сыграю, но не в этом дело... Какой кошмар, как стыдно...

Начали работать, я потихоньку взяла себя в руки, играю, выхожу из оцепенения.

Они тоже не все помнят, останавливаются, повторяют, всё как всегда.

Одна группа прошла, другая, третья, все вошло в свое русло, танцуем, как вдруг на сцену выскакивает наш единственный мачо и начинает делать свои мужские дела (в смысле большие прыжки и пируэты). А у нас Шопен, я тут вся — дыша духами и туманами... Нет, конечно, ежли бы такое случилось на концерте, то уже второй его прыжок (заскок) пошел бы под «мужскую» музыку, но сейчас репетиция, и во фронт сидят все учителя, помощники и ассистенты, и мне не по рангу разруливать ситуацию, хотя на самом деле хочется остановиться и спросить: «Вы, молодой человек, чё?.. Вообще-то мы тут это... репетируем».

К моему дичайшему удивлению, он благополучно заканчивает и убегает за кулисы. Никакого движения в преподавательском составе не наблюдается, переходят к следующему номеру. Встаю:

— Минуточку! Что это было?

— Так это мы вставили фрагмент.

— Я не знала. Что нужно здесь играть?

— Ничего особенного, продолжайте, как было.

— Я могу что-нибудь мужское.

— Не нужно. Но, впрочем, если вам не трудно.

— Не трудно.

Все идет своим чередом.

Стали прогонять пиццикатный фрагмент. У меня там в левой шестнадцатые, пять штук, а потом на паузе все замирает до сильной доли. У танцующих — пике, и последнее что-то не успевают. Преподаватель сердится, подгоняет. Пробуют опять. Опять. Подаю голос:

— А хотите, я тут добавлю в левой долю, чтобы подтолкнуть их?

Две помощницы, сидящие у меня за спиной, охнув, срываются с места и бегут за кулисы, слышится стук удаляющихся пяток и наперебой истошное:

— Начинается! Она сказала, что не будет ничего этого играть! Она сказала, что будет играть другое!!!

За кулисами крики, звук приближающихся пяток, наконец появляются те же и старшая с распахнутыми руками:

— Ничего менять нельзя! Играть как написано!!!

Тьфу ты, дернуло ж меня за язык, добавила бы молча, и не заметил бы никто. Ладно, будет вам как написано. А интересно, этих девиц приставили, чтобы смотреть за мной? Так они не слышали, что должно звучать, как им определять, что я отклоняюсь? И плотоядные мысли пошли дальше — а что они могут сделать-то, если я на концерте возьму да и заиграю не то? Кто вообще что-то может сделать? Это ж не остановить... разве что электрошоком.

Далее генеральная шла спокойно — нормальный насыщенный рабочий процесс, полная мобилизация усилий всех, отмечу только один момент: начали прогонять гранд аллегро директрисы. Появляются две девицы по углам у задника, и — большие прыжки по диагонали и пируэты. Потом следующие две оттуда же, и так без конца.

Играю. Чего-то вроде сбилась. Быстро поправилась. Опять не то. Начала внимательно смотреть, что происходит. Всё нормально. Потом на следующем выходе — раз — опять ошибка. Дошло... Одни делают правильно, другие — нет: кто-то на «раз» начинает прыжок, как надо, а кто-то — вступительное пор де бра, поэтому эта четверка периодически болтается, а ты ее ретушируешь, чтобы начало было как положено — началом. «Четверка» — не криминально, хотя по музыке заметно, да и в задуманном безостановочном движении появляются дырки. Педагоги делают какие-то замечания, а на сцену выползает следующий класс, эти начинают уходить. И тут меня понесло:

— Подождите! У нас здесь ошибка!

Все, как по команде, поворачивают головы и, выпучив глаза, смотрят на меня, как на заговоривший стул. Повисает гробовая тишина.

Начинаю объяснять — безрезультатно. Они:

— Все нормально.

— Нет!

Директриса настаивает, что они репетировали под запись, и там все сходилось — проблема у меня. Пытаюсь объяснять и показываю, как могу, шестое пор де бра и даже подпрыгиваю на «раз» — бесполезно, но становится не по себе, потому что все так и стоят, окаменев, смотрят, как в «Ревизоре», а толку никакого, я отнимаю драгоценное время. Подходят еще педагоги, объясняют, что все так и надо — поставлено четверками. Ага! А почему тогда на сцене то двойное перекрестное движение, то пусто?!

В итоге я, потерпев поражение, сажусь, девицы стоят в растерянности, и, чтобы не оставалось сомнений, новый класс просят пока уйти, а этих — станцевать еще раз.

Директриса проходит через сцену, кто-то спрашивает:

— Так что нам делать?

И та тихо, но отчетливо:

— То же самое, не обращайте внимания.

Ух, как по уху резануло!

Сижу, играю, сама себя уговариваю, что она, в принципе, права, что золотое правило: нельзя ничего менять перед выходом, только вконец всех запутаешь; что вдолблено, то и проявится. А я, как дите малое, пошла шашкой рубать, эх...

Эти себе танцуют с переменным успехом, то так, то эдак, я за ними ошибки подтираю, общий вид вполне приличный, почти уже закончили, и вдруг на сцену выбегает директриса с диким воплем:

— Стойте!!! Она права!

И начинает объяснять и на «раз» подпрыгивать. Сижу, думаю: оно, конечно, хорошо, но менять перед выходом... уж делали бы как делали. И, кстати, ни одна на концерте не ошиблась.

А директриса потом урвала минутку и подошла извинилась-поблагодарила, хотя я прекрасно понимаю, что такое генеральная в день концерта, какие это нервы, и что значит собрать все это воедино (технически, творчески, организационно), и когда все это — на тебе, а о том, чего это стоит, никто, кроме тебя, не знает, все будут видеть и судить только результат.

Итак, генеральная заканчивается и, как все генеральные, в сроки не укладывается, а переваливает за назначенное время.

Бегу домой, нужно переодеться и обратно. На самое необходимое — прийти в себя — времени не остается, а так нужно полчасика посидеть в тишине, чтобы хоть как-то восстановиться! Несусь и никак не могу решить дилемму: что сейчас правильнее — валерианочки или коньячку?..

19:00. Концерт

Прежде чем приступить к описанию концерта, придется опять уходить в лирическое отступление. Потому что, если просто, без объяснений местной специфики написать, что за день до концерта на нервной почве я рванула в

магазин за туфлями, то будет непонятно — с чего? Туфель не было, что ли? Почему заранее не купила? Нет, туфли, конечно, были, дело не в этом.

Дело в этих дурацких нотах.

Ковыряла их, ковыряла, то выходит, то нет, вроде уже и ничего, но без лоска, неуверенно, а завтра играть, настроение кислое, что делать?

Какая главная напасть русского концертмейстера? Он вечно сомневается в себе. И сами знаете, как это мешает играть и связывает руки, даже в тех местах, где и волноваться, казалось бы, не о чем, и что обидно — от степени готовности к выступлению это совершенно не зависит. Ну, женщины уже поняли, при чем здесь новые туфли, а мужчины не поймут и после пространного объяснения, поэтому смело пропускайте пару абзацев, не теряйте времени, а мы вас скоро догоним.

Дело вот в чем. Как правило, каждый город имеет свою ауру, иногда даже свой стиль. Городок, в котором я живу, очень специфичен и либерален: основное население — университетские студенты и профессора, а также пенсионеры-педагоги всех времен и народов, а нормальному профессору совершенно все равно, что на нем надето. Женщины совершенно им под стать, поэтому, если сказать, что мы крайне антигламурны, это значит не сказать ничего. Мужчины с хвостиками в никогда-не-глаженных

штанах, женщины с седыми распущенными по плечам волосами, напоминающие индейцев и хиппи, в широкой обуви без каблука, все просто и удобно. Не пользуются никакой косметикой (упаси боже кожу портить, всё должно дышать), в общем, всё у всех дышит. Конечно, бывают исключения, но это редкость. (Как-то мама, взглянув на мои ботинки, со свойственной ей сдержанностью тут же заметила, что она в таких и мусор на даче постеснялась бы выбрасывать. Ну и ладно, я не обиделась — а когда это у разных поколений был одинаковый вкус?)

А как-то летом, перед поездкой в Москву, пришлось купить себе остроносые туфли на невысокой шпильке. Немножко предварительно поносила, чтобы они не выглядели как новые (типа всегда так хожу), здешние русские подружки меня увидали, окружили, обхихикались, пришлось объяснять — в Москву ж еду! А когда приехала, мои московские подружки на эти туфли печально посмотрели и скорбно покачали головами: «М-да... а ты каблуки уже не носишь?»

И вот перед концертом срочно нужно было купить что-нибудь для куражу. Туфли не подошли, купила короткие сапоги на высоченной шпильке, концертный туалет у меня был, к нему откопала запрятанный за ненадобностью абсолютно гламурный черный шарф-палантин. Встала перед зеркалом. Непривычно... давно я не был в свете... Для

общего впечатления представьте себе портрет Ермоловой (Серова), но на локти повесьте палантин ручной работы с огромным серебряным розаном на уровне колена. Лицо замените на любое другое, помоложе, на какое вам больше нравится — на свое, например.

Прежде чем выходить на публику в таком виде, решила опробовать на восьмилетних дочерях. В московском эквиваленте это как, например, вы бы предстали перед своими детьми зимой в купальнике с яркими перьями и в ответ на раскрытые рты ограничились бы кратким: «Это я на работу».

Встала, позвала, прибежали и с ходу завопили. Ничего, была готова, терпеливо выждала, пока кончится дыхание.

Наконец, сосредоточенно уставившись на меня, неодобрительно выдали:

— Ты одета как молодая.

— А я и не старая!

— Ну... как в телевизоре... глаза зачем накрасила?

— Не нравится?

Кисло:

— Нравится... (С нарастающим ужасом.) Что, и на улицу так пойдешь?!

— Нет. На сцене буду играть.

— А-а... немножко... ну как на Хеллоуине... вся в черном.

— Это называется «академично».

— Мы тоже хотим академичные каблуки!!!

— Нет! В школу в таких не ходят. Я в понедельник сдам эти сапоги, не переживайте.

— Нет! Не сдавай!

(Ага! Значит, все нормально.)

— И куда я в них буду ходить?

— Ну... дома можешь.

— Ну да, борщ варить.

В комнату на шум зашел кот. Сел, укоризненно оглядел меня, но от комментариев воздержался. По коридору бежал муж, бросил взгляд в нашу сторону и встал как вкопанный:

— Ты куда?!

— Здрасьте!

В итоге дети, расфуфырившись поакадемичней, увязались за мной, и мы отправились на концерт.

«Театр уж полон, ложи блещут», приятное оживление в фойе, ни с чем не сравнимая атмосфера. Не опуская подбородка, еле заметным движением плеча сбрасываю с себя старую черную куртку, и. о. норкового манто, она грамотно скользит вниз, на уровне колена эффектным движением кисти ловлю ее за воротник, но, не успев достойно завершить полный цикл, натыкаюсь на расширенные от ужаса глаза детей:

— Ой! Это не наш кот!

Опускаю взгляд и чуть не грохаюсь в обморок: я вся в белом пуху! Плотным слоем.

(Последний раз надевала эту куртку на новую кофту с большим начесом.) Мгновенно, в прыжке, напяливаю куртку обратно, и мы несемся искать туалет, чтобы все это чистить, эх, как некстати, как некстати...

За минуту до начала, мокрая, но чистая, влетаю в зал.

Мне трудно описать концерт. Даже, пожалуй, невозможно. И это всегда так было: когда выступают ученики моих друзей или того хуже — свои, то я совершенно не могу воспринимать действо целиком, просто неспособна увидеть выступление со стороны, потому что давно нахожусь «внутри» и переживаю каждое движение отдельно. Все выступление раздергано в моем сознании на тысячу «трудных мест» и фрагментов, по которым, как по лезвию бритвы, я иду вместе с исполнителями: так, это сделали, это прошли, теперь это, здесь молодцы, а здесь могли бы лучше...

Поэтому я и не буду пытаться описать концерт со зрительского кресла, а останусь на своем стуле, за роялем. Если уж совсем коротко, то концерт прошел прекрасно, на подъеме, без срывов и накладок. Девицы танцевали хорошо, не по-школярски, публика щедро буйствовала.

Одним из сильнейших впечатлений для меня стала мужская вариация на музыку Пуни. Это были такие чудеса эквилибристики, высший пилотаж! Номер можно смело выдвигать на конкурс международного класса, и безусловная

победа гарантирована. Это я не про мальчика, это я про себя. Что он творил! Я носилась за ним ошпаренной тенью, пытаясь при всем при том соблюсти размер и общую форму (хотя Пуни, не переживайте, в гробу не переворачивался, потому как вряд ли признал). Где-то в середине мальчик добавил пробежечку по кругу. Разволновался, должно быть. Не уважал он Пуни, ох, не уважал, ни во что не ставил.

К слову сказать, подобных вещей я не только не боюсь, но отношусь к ним как к азартной игре. Полно людей, которые обожают компьютерные игры, ну там, где надо гоняться за какими-нибудь самураями и попутно уворачиваться от пуль и драконов — врешь, не возьмешь! Очень непредсказуемо и азартно, а если ошибся — кошмар! все, умер, конец! Но тут же, не сбавляя оборотов, у тебя открывается следующая жизнь, и ты несешься дальше. Для меня подобные фокусы на концерте — что-то типа компьютерной игры для концертмейстеров: и азартно, и не умер, и сам себе молодец.

Кроме мальчика, других неожиданностей не было, программу все отработали на славу. Отыграв свой репертуар, я села рядом со старшей, смотреть финальный фрагмент из «Спящей», который шел под фонограмму. Настроение было прекрасное: все позади и с блеском, гора с плеч! Ужасно хотелось поболтать с ней о концерте, но она была неприступна и холодна, как памятник. С одной стороны, ей и хотелось, чтобы директриса, наконец, облажалась, а с

другой — это же и ее работа тоже. Она сидела с поджатыми губами, стараясь сохранять доброжелательный вид. Я не утерпела и начала ее поздравлять и говорить, что все замечательно прошло, без единого срыва. Та слушала, задрав нос и глядя на сцену. До беседы со мной не снизошла. Ну и ладно! Я тоже уставилась на сцену. Через пару минут каменного созерцания она медленно повернулась в мою сторону и процедила: «Если бы тебя не было, у нее бы ничего не получилось».

Ой... когда не знаю, что ответить, то обычно говорю: «Спасибо».

Отгремели аплодисменты, восторги, охи-речи-поклоны, и всех пригласили на фуршет. Публика медленно потянулась наверх. Я стала неспеша собирать свои ноты, а вот тут-то меня ждала приятная неожиданность: к роялю выстроилась очередь из зрителей-музыкантов. Каждый, терпеливо дождавшись своей очереди, подходил, жал ручку, представлялся, кто откуда, и говорил приятные слова. Потом, наверху, другие зрители, кто узнавал меня, улыбались и сыпали комплиментами, но диво дивное в том, что музыканты не стали откладывать на потом, а подошли сразу. Такого я раньше не встречала — от коллег, как правило, не дождешься. Кстати, судя по этой очереди, профессия музыканта в нашем городе — дело неженское.

Позабавил один дедушка: представился, рассказал, где преподавал, и сообщил, что перед началом попереживал за меня на ухо супруге, мол, как же деточка будет играть в такой темноте? Поэтому стал за мной присматривать тревожно.

— Я был поражен,— нараспев декларировал он с круглыми глазами,— вы совершенно не смотрели на клавиатуру! Только на сцену и играли по танцорам как по нотам!

— Так и есть, я по ним и играю. Профессия такая.

Другой, назвавшись композитором, после долгих рулад спросил, глядя в свою записочку:

— А что вы играли для класса «B-3»?

Глянула в свой листочек, там значилась моя импровизация на большие прыжки. Не моргнув глазом, выдаю:

— Да это ничего, так, моя импровизация.

Он опешил и заморгал глазами:

— Если импровизация, то на чью тему?

— Да ни на чью, что в голову пришло.

Ну, думаю, это я зря назвала свою конвейерную вещь «ничего», сейчас он точно разобидится. Здесь к своему творчеству, начиная с детсада, относятся с нечеловеческим трепетом. Напишут фитюльку на одну строчку, созовут толпу гостей или в городском концерте исполнят, объявив «мировую премьеру», потом все кивают, поздравляют, шедевром называют. Он в себя пришел, нахохлился, настаивает, чтобы я проверила, это явно стиль Пуленка.

Ну какой Пуленк?! Хорошо же играла и даже не лажала вовсе, чего это он обзывается? На всякий случай еще раз проверила. Нет, все правильно, стоит: «Б. Пр., редко»,— а под Пуленка не то что редко, а и вовсе ни разу прыгнуть не хочется. Потом уже дома поняла — он, наверное, перепутал классы и имел в виду один из тех листочков с мутотенью, которые я невзлюбила...

Концерт закончился сверх ожиданий хорошо и подарил шквал положительных эмоций. Покончив с очередью у рояля, я поднялась наверх, в радушные объятия немузыкальной публики — гости, родители, участники, все радостно щебетали-обнимались-поздравляли, и я чувствовала себя именинницей, получая комплименты и раскланиваясь за все подряд — за игру, за концерт, за всевозможных балеринок и за серебряный розан.

Я ни за что не сдам эти сапоги!

ТЫ СКАЗАЛА МАЛО СЛОВ ЛЮБВИ



Памяти Учителя

Давно это было. В начале девяностых моя подруга попала в хор, который готовился к гастролям по Европе, что по тем временам было величайшей редкостью. Хор был уже укомплектован, и реальных шансов попасть туда у меня не было. Но бывают же еще нереальные шансы!

Как-то на репетиции разъярившийся дирижер заявил, что ситуация катастрофическая, и он вынужден набрать пару человек хоть с улицы, но в первых альтах некому петь! (У дирижеров вечно «катастрофы» и вечно «некому петь».) Я немедленно выразила готовность быть тем самым человеком с улицы, коварно притворившись первым альтом, и на следующий день мне предстояло побывать на

репетиции, а затем пройти прослушивание. В задачу также входило бегло петь по нотам текущий репертуар, поэтому я попросила у Анны нотки на ночь. Она, выдернув один листочек, сказала: «А это велено к завтрашнему выучить наизусть, он сказал, кто не выучит — на гастроли не поедет».

Я испугалась, конечно, и выучила, как оказалось, единственная из хора. Народ своего дирижера знал, любил и умело фильтровал информацию.

Так я очутилась в хоре, да, к моей бесконечной радости, через неделю была ссажена в свою нормальную партию — вторые альты.

Девицы, в основном его бывшие студентки, Евгения Михайловича любили, некоторые боготворили, у них за спиной был большой пройденный путь длиною в десять лет — студенческая жизнь, концерты, гастроли, но и нас, новеньких, воронка его обаяния затягивала очень быстро.

Говорят, когда он вел у них студенческий хор, в порыве гнева швырял в аудиторию журналы, ручки и наручные часы, которые дирижеры обычно снимают во время работы и кладут на стол, и у девиц никогда не было проблемы, что подарить ему на день рождения,— они скидывались и покупали очередные часы. На мою долю таких грозностей уже не выпало. Он был из тех дирижеров, у которых перед выступлением все сыро-сыро, а на концерте волшебно. Он обладал сильной харизмой как в жизни, так и в творчестве.

Сейчас-то я точно могу сказать, что время, связанное с хором и гастролями, было одним из самых ярких впечатлений моей жизни.

Этот рассказ — об одном выступлении, поэтому я оставлю за кадром наши репетиции и первые гастроли, а перейду сразу к тем, когда мы поехали на фестивали в Германию и Италию, а главное — дать один концерт в храме на Капитолийском холме, до нас ни один российский хор в Риме не выступал.

Началась активная подготовка, скорое будущее казалось лучезарным и незыблемым, все было подчинено этой поездке, и вдруг, сначала робкими слухами, а потом неумолимой очевидностью, в нашу жизнь вползло страшное известие, что у Евгения Михайловича обнаружили рак. Врачи обещали ему пару месяцев жизни, проведя роковую черту в апреле, накануне гастролей, говорили, что ни о каком Риме не может быть и речи. Для него же — это ни о каких врачах не может быть речи, а в Рим он поедет. (Он вообще был упрямым. Если не путаю, юным надбавил себе годы и ушел на фронт, так кто же теперь мог остановить его перед какой-то поездкой?) Я тогда не могла вместить в голове, что болезнь может съесть живого, здорового на вид человека. Да, это рак, но бывает же, что врачи преувеличивают? Тем более он был таким сияющим и крепким, что нам казалось: уж кто-кто, но он-то обязательно справится.

Он стал резко сдавать и стремительно худеть. Иногда забывал только что сказанное, таял на глазах, превращаясь из энергичного мужчины в сухого узкого старика, но по-прежнему все свои силы вкладывал в репетиции. Вскоре, «на всякий случай», он стал готовить себе замену — двух хористок: одной предстояло выучить русский репертуар, другой — западный. Нет, то, что он останется, даже не обсуждалось, но, если ему вдруг на концерте станет плохо, кто-то должен встать перед хором.

Он работал очень много, назначал дополнительные репетиции, натаскивая Валерию и Веру лично, как в прежние училищные времена, когда они были его студентками, выставлял их работать с хором, давал нам петь вообще без дирижера, чтобы научить остро чувствовать друг друга. Он готовил нас к любым неожиданностям.

Все чаще и чаще на репетиции приходила его жена, и, чем ближе к роковому апрелю, тем неразлучнее становились они. О ней хочу рассказать отдельно.

На людях свою жену Анну Марковну он не только звал по имени-отчеству, но еще неизменно прибавлял «моя жена» — моя жена Анна Марковна. Произносилось это тепло и подчеркнуто почтительно, мы даже за глаза говорили: «Его-жена-Анна-Марковна сказала...» Относиться к ней полагалось с пиететом, но то уважение, с которым он упоминал о ней, действительно трогало. Их дочь говорила,

что они едины в двух лицах, Анна Марковна была его главным советчиком, собеседником, частью души.

Их история любви не была обычной: они приходились друг другу кузенами, и обе семьи, узнав о серьезных намерениях влюбленной пары, сделали все, чтобы отвести их друг от друга, но безуспешно. Тогда от них потребовали выдержать два года в разлуке, и если после этого они не переменят своего решения, то семьи смирятся с кровосмесительным браком. И это они выдержали и с тех пор не расставались. Красивая пара: он — заботливый, энергичный, харизматичный, и она — рассудительная красавица с царской статью и тяжелой косой, венцом уложенной на голове. Я знала их, когда им было около 65 лет,— исчезла только коса, но все остальное осталось — та же острая потребность друг в друге.

К моменту поездки он стал совсем плох — серый, худой, иногда капризничал, как маленький. С нами в Италию полетела медсестра, которая всегда была рядом.

В начале полета он выглядел бодро, но в римском аэропорту упал, и его увезла скорая. Вернулся в инвалидном кресле, с которого уже не вставал. Шла вторая половина апреля, Рим буйствовал пасхальными каникулами и особым притоком туристов. В глаза бросалось неестественно большое количество влюбленных пар, они были везде — гуляли, сидели, лежали на траве и висели на памятниках, все вокруг безостановочно обнималось и целовалось. Как

нам объяснили — это молодожены, которые недавно отыграли свадьбы, а в свадебное путешествие отправились только сейчас — это очень популярное место для новобрачных разных стран — Рим на Пасху.

До нашего концерта оставалась пара дней, с утра до ночи мы ходили по городу и пытались успеть везде. По всему центру были расклеены афиши — первый российский хор в Риме.

Накануне концерта мы попали к фонтану Треви. День медленно опрокидывался в сумерки, подкрашивая белый мрамор в розовато-янтарный цвет, на небольшой площади, до отказа набитой людьми, было тесно и шумно. Девчонки растворились в толпе, мы с подругой случайно очутились недалеко от Евгения Михайловича и Анны Марковны. Он сидел в своем кресле, укутанный пледом, она стояла рядом, поверх голов рассматривая фонтан, иногда что-то ему говорила. Кто там бывал, помнит, насколько сильна магия того места. И вдруг он заплакал, горько-горько и беззвучно. Слезы катились по пергаментным щекам, он сидел не шевелясь, но жена взглянула на него, видимо проверяя, все ли в порядке, и взметнулась:

— Что случилось?! Тебе плохо? — Ее взгляд запрыгал по толпе, отыскивая медсестру. Мы тоже всполошились и начали крутить головами, готовые броситься на поиски.

Анна Марковна наклонилась: — Почему ты плачешь? Тебе больно?

Он помотал головой.

— А что?!

— Ты сегодня сказала мало слов любви.

Она охнула:

— Ну что ты! — Обняла его за голову и стала что-то говорить, говорить, раскачиваясь тихонечко, как укачивая. Так они и стояли долго-долго, одинокие в своем горе, посреди праздничной толпы, в центре Вечного города.

Он был уже совсем высохший и маленький, особенно на фоне статной и сильной Анны Марковны, что на минуту мне показалось, что она сейчас выпрямится, поднимет его на руки, как захворавшего сына, и понесет отсюда, подальше от людей, навстречу воспаленному солнцу, и будет идти, нашептывая одним им известные слова, и будет их много, очень много, и не кончится этот нежный поток, и заснет он, успокоенный, на ее плече.

На следующий день на репетиции ему стало совсем плохо. Он пропускал вступления и забывал снимать, его долгие замедления были неожиданны и тянули жилы. Если кто-то пытался петь «как надо», он начинал кричать, сердиться, ему делалось хуже, все останавливалось. Анна Марковна предлагала ему дать девочкам-дирижеркам попробовать, он сердился и упорствовал, что сам. После ре-

петиции его все-таки увезли и позже сообщили, что они трое уже в аэропорту и вылетают в Москву.

Мы собрались распеться перед концертом — хор лихорадило, дирижерки тихо истерили (не от предстоящего дебюта: они были любимицами Евгения Михайловича с давних лет и сами любили его не меньше. В тот момент им было трудно не то что сконцентрироваться, а вообще разговаривать, одна все время ходила зареванная). Они нас распели, и, всунутые в привычную колею работы и мобилизовавшись перед выступлением, мы собрались и немного пришли в себя. Репетиция спасительно подсунула нам иллюзию цели — мы должны быть готовы к концерту.

Объявили готовность к выходу, мы пошли в холл ждать, пока доиграет оркестр, который выступал в первом отделении. Мы стояли, молодые, красивые, одна к одной, в черном бархате, стройные, как античные колонны, многие накрашены ярче обычного, чтобы скрыть заплаканные глаза. Страшно, но мы готовы, через несколько минут наш выход.

И тут в конце холла показалась Анна Марковна. Она катила коляску, а в ней — Евгений Михайлович в концертном костюме. Мы оцепенели.

— Девочки! — прошелестел он.— Девочки мои, я не мог улететь, я буду дирижировать... Вы распеты?

— Да.

— Тогда давайте пройдемся по программе.

Мы попробовали несколько фрагментов, но было ужасно неудобно и непонятно — как петь? Жест зависал и замирал, мы тянули, тянули неестественно долго, он сердился — почему мы не сняли? Он ведь показал снять.

Или он не показывал промежуточного вступления, девицы привычно вступали, он останавливал — почему вы вступили? Или он складывал руки на коленях, мы останавливались — где звук, разве я снял?!

По хору пошел шепот — что делать? Как реагировать? Он как раз опять застыл, и звук, повисев, неуверенно исчез, и тут его прорвало:

— Почему вы сняли?! Разве вы не видите, что я прошу держать?! Или вы думаете, что я выжил из ума? — Он зашелся кашлем, несколько хористок подбежали к нему успокаивать, но становилось только хуже.— Или вы думаете, что я уже умер? Вы уже похоронили меня, да? Я еще живой!

Он кашлял и уже не мог остановиться, его колотило изнутри, он хватался за голову, Анна Марковна быстро увезла его, девицы начали ругаться между собой, и вдруг:

— Замолчите! Хватит! — крикнула одна хористка, перекрывая всех.— Значит, так: всем смотреть на дирижера! Петь четко по руке, что бы он ни показывал!

— А если он забудет или перепутает? А мало ли?

— Повторяю для особо ответственных: ваше дело — петь по руке!

— Это ж позориться...

— Да плевать! — Она начала срываться, как загнанная в угол собака.— Плевать на этот зал, на весь этот концерт, вы что, не видите — он умирает?! И это последнее, что мы можем для него сделать! — Ее подбородок задрожал. Она собралась и отчеканила: — Мы будем петь этот концерт — для него. ДЛЯ НЕГО. Главное, чтобы он был доволен. Остальным зрителям придется потерпеть, ничего страшного, это не последний их концерт.

Мы молчали. «Синьорине, выш выход!» Мы не шевелились. «Ваш выход!»

Лерка очнулась:

— Первый ряд, идите!

— Так а куда нам идти, а что будет? А Евгений Михайлович? А он где? А Вера где?

— Идите-идите! Пока вы выйдете, может, он подойдет. Идите уже, идите!

Хор разворачивающимся питоном стал вытекать в зал. Когда первые девушки уже стояли на своих местах, на другом конце хвоста еще лихорадочно решали, куда деваться дирижеркам: на свое место или пристроиться в конце хвоста на случай, если хор останется без дирижера.

Желающих послушать экзотический хор оказалось больше, чем могло уместиться в соборе. Люди были везде — громоздились друг на друге, стояли во всех проходах, висели на колоннах, сидели на полу. Это не был кон-

цертный зал, поэтому мы стояли на одном уровне со зрителями. Персонал храма расчищал от людей центральный проход, объясняя, что это место сейчас нужно для дирижера, тянулось время, а мы так и не знали — выйдет дирижер или нет, в каком он состоянии, и вообще — в Риме или уже в аэропорту.

Наконец, появился ведущий, представил нас и объяснил, что в соборе очень много людей и слишком душно, что петь очень тяжело, поэтому, чтобы не растягивать время, пожалуйста, не нужно аплодировать — это отнимет время и силы, и по этой же причине хор не будет бисировать, спасибо за понимание.

И вывезли дирижера. Ассистент, кативший коляску, провез ее между рядов и поставил достаточно далеко от хора, чтобы нам было видно. Я не помню, действительно ли в зале было душно, но дышать сразу стало нечем.

Он устало смотрел на хор, и казалось, что не будет дирижировать, а просто хочет посидеть и посмотреть на нас, наконец-то притихших. Привычная концертная бабочка выглядела большой и тяжелой на иссохшей шее.

Наконец он медленно поднял руку и замер. Воля пятидесяти человек сконцентрировалась на кончике его пальцев, как на острие иглы. Он еле заметно качнул кистью — и время остановилось, пропустив вперед музыку, которая несмело стала расправлять свои затекшие крылья, чтобы, окрепнув, унести за собой к куполу храма: «Miserere mei Deus...»

Петь было очень тяжело. Жест был настолько слабый, что предельно напрягшееся зрение отвергало все, что могло отвлечь, и через какое-то время для меня уже не существовало ни храма, ни публики, ни хора, как будто я находилась в абсолютной темноте, в холодном черном космосе, в длинном тоннеле, в конце которого был слабый свет и руки дирижера, и каждой своей наэлектризованной клеткой я стремилась туда, на свет, боясь, что если ошибусь или оторвусь от жеста, то свет потухнет, прервется связь, и я останусь одна в этой темноте.

Ощущение одиночества обостряло то, что я не чувствовала хора, точнее, не слышала привычных деталей: ни дыхания соседки, ни промахов вторых сопрано, ни нежных колокольчиков первых, хор казался монолитным, перешел в грудной регистр, а первые сопрано звучали еще хрустальней.

Состояние холода усиливалось безмолвием публики. Мы молча шли вперед в этом ирреальном пространстве, переходя от одного произведения к другому, а в паузы было еще страшнее, взгляд впивался в дирижера — будет ли следующий номер или всё, руки останутся безвольно лежать на коленях?

Но он поднимал руку, кисть вздрагивала в ауфтакте, и мы шли дальше.

Мы пели, и вдруг соседка (мы стоим с краю) тихонько толкнула меня локтем и кивком показала на хор: смотри.

Я подняла взгляд... они плакали. Я испуганно дернулась назад, но тут же вернулась, не в состоянии отвести глаз: они плакали. Плакали, судя по всему, давно — слезы сплошным потоком заливали щеки, их никто не вытирал, чтобы не привлекать внимания. Ком в горле не давал дальше петь, я перевела взгляд на зрителей в первых рядах: они все поняли, и я почувствовала горячую волну сострадания, идущую от них. И тут мне стало так остро стыдно, что я уже столько времени стою тут, как деревянная кукла, стараясь ювелирно точно выполнить свою работу, переживая за исполнение, а хор-то поет совсем о другом!

И я запела, но запела теперь по-другому — для него. И постепенно, как вода, вытекло напряжение из тела, и прекратилась гонка за жестом, я просто пела любимую музыку — ему, ему — моему единственному зрителю и бесконечно дорогому человеку, которому хотелось говорить и говорить, и сказать много, много слов любви и утешения, и уже невозможно было сдержать слез.

Я больше никогда его не видела — их увезли в аэропорт сразу, когда мы еще пели мессу с оркестром. Те, кто потом слышал запись этого концерта, говорят, что это было лучшее наше выступление.

Недели две мы поколесили по итальянским фестивалям и вернулись домой. Сразу с самолета его дочь, Вера и Лерка поехали в больницу, повезли ему наши награды, подарки, записи выступлений. Врачи не пустили бы их, но,

зная, как он ждет дочь, боясь умереть до ее приезда, разрешили им войти ненадолго. Но какое там ненадолго, он радовался и требовал, чтобы они рассказывали и рассказывали, они не могли наговориться.

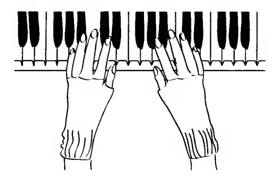
Под утро девицы ушли, и он тихо умер.

...когда порой я его вспоминаю, то чаще всего всплывают в памяти не головокружительные гастроли и не яркая творческая жизнь, щедро подаренная его рукой, а тот тихий упрек:

Ты сказала мало слов любви...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПО-ПОЛЬСКИ

(святочный рассказ)



В эмигрантских семьях первого поколения дети обычно знают родной язык. Уровень владения зависит от образования и настойчивости родителей, но безусловно одно — дети понимают родителей. Исключение — американские польские семьи. Обычная картина: мать, разговаривающая со своим ребенком на неродном английском.

Есть у меня ученица-полька, занимается на скрипочке и фортепиано, кроме того, что сама девочка приятная, общение с ее мамой доставляет мне особое удовольствие — мы говорим по-польски (когда я была школьницей, наша семья несколько лет жила в Польше, поэтому язык у меня без акцента, хотя многое стала уже забы-

вать). К тому же пани Ванда родом из тех мест, где жила я, так что мы с ней, можно сказать, земляки. У нее четверо детей, все католики, все играют на музыкальных инструментах, всем дается серьезное образование, но по-польски понимает только старшая двадцатипятилетняя дочь, младшие же даже не разрешали родителям разговаривать с ними на польском в присутствии одноклассников или знакомых.

Конечно, я поинтересовалась у Ванды — почему так? Почему именно поляки?! И это при том, что они так берегут религию, семейный уклад, кухню, что угодно, но не язык? Оказывается, давно еще, когда была мощная волна эмиграции из Польши, оттуда семьями ехали гурале (жители гор) — без английского, без образования, у многих дети не ходили в школу, некоторые не знали своей письменности. И появилась популярная серия анекдотов вроде наших про чукчу — тот же типаж, те же ситуации, только не чукча, а поляк. Могу лишь догадываться, как поколение поляков справилось с этим, но визгу и слез в семьях было много, и многие родители выбрали именно этот путь — не травмировать своих детей напоминанием о происхождении.

Для меня это было невероятным открытием, и я стала потихоньку разговаривать на уроках о Польше, тем более именно на уроках музыки это делать легко, потому что не каждая нация оставила такой же заметный след в музыке.

Мы говорили о Шопене, о Пендерецком, об Огиньском, о том, что польские народные танцы мазурка и полонез стали классическими жанрами, хотя тысячи разных народов пляшут себе веками свои местные танцы, но никто о них знать не знает и знать не будет.

Мы говорили о Копернике, о Мицкевиче, и, чтобы девочка не сомневалась, что всех их я не выдумываю, желая потрясти ее воображение, я задавала на дом покопаться в Интернете и рассказать немножко о ком-нибудь из них.

Я рассказывала, что когда-то Польша была сильнейшей европейской империей, и до сих пор в песне поется «Раскинулась от моря и до моря» (от Балтики до Черного), и, конечно, о красавицах польках, и что долгое время в Европе само слово «полька» уже предполагало красивую женщину с особым шармом...

И вот однажды семья Виктории была приглашена в гости на Рождество на большую польскую вечеринку. Программа была разослана заранее, детям предложили исполнить какой-нибудь номер, хозяева готовили подарки. Я задала Виктории самую известную польскую рождественскую коленду «Lulajze, Jezuniu». Не знаю, какой аналог привести для сравнения, пожалуй, подобного у нас нет. Это культовая песня, без нее Рождество в Польше не наступит. Во времена моего детства в «советской» Польше все католическое, не в силах уничтожить совсем, убирали

подальше с официальных глаз, может, поэтому, попранная национальная независимость прочно ассоциировалось с теснимой верой. И в канун Рождества отовсюду, со всех телеканалов, звучали рождественские коленды, чаще без слов, в инструментальном исполнении. К колендам вообще у поляков отношение трепетное, но даже среди многих любимых эта — особенная. Она, как Рождественская звезда, соседствуя с миллионами похожих звезд, всегда — единственная.

Эта коленда — колыбельная, которая поется не только новорожденному младенцу, но и самой Деве Марии. В то же время каждый наполняет ее чем-то очень личным: мать поет своему рожденному ребенку, девочка — еще не рожденному; старики, с нежностью — своему прошлому, а Польша (Польша моего детства) — той ушедшей в небытие идеализируемой великой стране, которая осталась только в воспоминаниях, книгах и музыке. Это ласковая колыбельная всему светлому и нежному, что спрятано в бесхитростной надежде, это колыбельная-утешение, что все у нас — еще будет.

Итак, мы готовили «Lulajze, Jezuniu» и с музыкой еще как-то справлялись, а вот с текстом было туго. Я просила Ванду, чтобы они поучили слова. «Она не хочет»,— расстраивалась Ванда.

Тогда она придумала способ: когда они гуляли с собакой, а дорожка узкая, мать шла сзади и пела первый куп-

лет, много раз, по кругу. «Мне очень обидно,— жаловалась Ванда на дочь,— она отмахивается, зажимает уши, кричит: „Перестань!“ — а я иду, ком в горле, и упорно пою, и так мне горько, что ничего польского не останется у детей. Когда Виктория отпирается совсем агрессивно, я прикрываюсь: „Пани Лада велела“,— она замолкает, но все равно сердится».

Так мы и учили коленду, хотя девочка сразу заявила, что петь это она не будет ни за что, только играть. «Ну хорошо,— соглашалась я,— не надо петь. Но выучи просто для меня, а то я спать спокойно не могу — как это польская девочка и не знает „Lulajze, Jezuniu“?» Она смеялась и ничего, с английским акцентом, вспоминая начала фраз только после подсказки, пела.

К Рождеству мы были готовы — играли блестяще, в характере, пели через пень-колоду, но этого и не требовалось. Они уехали, а я стала ждать их триумфального возвращения и творческого отчета. Но рассказ Ванды превзошел все мои ожидания...

А было так — огромный, пышно украшенный дом, традиционно наряженная елка, старинный вертеп, стол ломился от блюд польской рождественской кухни. Дети тут же удрали на свой этаж и играли-общались на своем английском, а солидные взрослые разговаривали в гостиной на родном, польском.

И подошел момент праздничного концерта, составленного из детских номеров. Принесли старинный сундук с подарками, гости расположились — женщины на диванах, мужчины с фото- и видеокамерами — стоя за женщинами, мужчины постарше — на стульях. Дети рассыпались на полу. Представление разыгрывалось перед сверкающей елкой.

Когда еще не стихла суета с приготовлениями-рассадками, выяснилось, что синтезатора, который специально заказывали для выступления Виктории,— нет!

— Досадная нестыковка,— всплеснула руками хозяйка,— мы были уверены, что инструмент будет!

Виктория расстроилась, мама еще больше. Хозяйка, пытаясь сгладить огорчение, щебетала и уговаривала исполнить что-нибудь с ходу — ну стишок рассказать, или сплясать что-нибудь, или дудочку или скрипочку у других деток попросить и сыграть на скрипочке, ты же играешь на скрипочке, да? Но это расстроило Викторию еще больше — кому хочется играть на чужой скрипочке незнамо что, когда ты долго готовился совсем к другому?

А когда начали выступать дети — рассказывать стихи, петь песни (американские, естественно), показывать фокусы, и их фотографировали, осыпали восторгами и кричали «Браво! Браво!» и «Талантливо! Талантливо!», и гордые родители раскланивались, как именинники, а хозяйка доставала из волшебного сундука какой-нибудь подарок и

вручала сияющему ребенку, и аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, Виктория совсем скисла — мы ведь могли и на скрипочке эту вещь выучить, но кто знал?!

Дети, кто мог,— отвыступали, кто не мог — покривлялись, хозяйка стала завершать концерт, благодарить и приглашать к чаю, и тут Виктория резко встает и объявляет:

— Я еще буду выступать!

— Ой, ну умничка, молодец, давай!

Пани Ванда удивилась, потому что дочь никаких стихов вроде не знала, а девочка встала перед елкой и тоненько запела:

Lulajze, Jezuniu, moja perelko,
Lulaj ulubione me piescidelko...

Взрослые застыли. Голос девочки дрожал, и гости стали подпевать, а, когда Виктория остановилась, они продолжали петь.

Дети сидели на ковре и смотрели на взрослых — на поющих на непонятном языке родителей, поющих незнакомых людей, видящих друг друга впервые, но непостижимым образом в одно мгновение объединеных завораживающей мелодией. И было очевидно, что гости, еще пару минут назад прыгавшие вокруг детей и разыгрывающие для них весь этот вечер, вдруг ушли далеко-далеко, непонятно куда, и не вернутся, пока не закончится эта странная музыка, и беспо-

лезно капризничать или плакать, поэтому лучше сейчас — молчать и не двигаться, не мешать и ждать, когда они вернутся.

Стихла коленда, очнулись взрослые, сгребли все оставшиеся подарки и вручили счастливой Виктории. Дети тут же шумной толпой навалились на нее, прыгая и канюча, и живая куча-мала перетекла в соседнюю комнату, в надежде выцыганить себе какую-нибудь малость с барского плеча.

Как только дети ушли, взрослые обернулись к Ванде с одним на всех вопросом:

— Как?! Как вы это сделали?!

— Это не я,— ответила Ванда,— это учительница музыки.

— Но тогда как она это сделала? (Ведь это старая истина: ни брат, ни сват, ни бабушки-дедушки не могут заставить детей говорить на польском.) Сколько ей лет? Как это у нее получается? Откуда она?

— Она русская,— улыбнулась Ванда, предвкушая реакцию гостей (русских, за глаза называя оккупантами, поляки традиционно не любили).

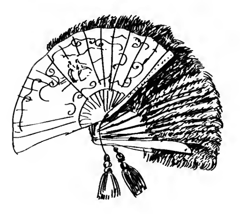
Оторопевшие во второй раз гости просили передавать свои восхищения учительнице, что Ванда и сделала, и мы наперебой болтали с ней, с удовольствием перебирая события того вечера по нескольку раз. Виктория не отставала и тоже рассказывала о своем выступлении, сердясь на

маму, что та говорит вперед нее. Самое большое впечатление на девочку произвели поющие родители и сундук с подарками, за секунду перешедший в ее полное владение.

Теперь мы каждый год в декабре разучиваем новые коленды — одну наизусть, а в качестве чтения с листа у нас есть сборник польских коленд, мы открываем его и играем подряд в четыре руки. А Ванда сидит в кресле у камина, закутавшись в шаль, и читает свою книгу.

И страницу никогда не переворачивает...

НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ



Вы думаете, легко раздобыть в сезон хорошего Деда Мороза? Да любого хотя бы?

Со всей ответственностью и богатым опытом в этом деле отвечаю: это очень нелегко. Конечно, если у вас есть куча ненужных денег и вы живете в большом городе, где полно профессиональных артистов, которые не прочь заработать, то это другое дело, да и то я не уверена, что вам повезет с первого раза.

У меня же условия были и вовсе неблагоприятные: небольшой городок на северо-востоке Америки, соотечественников дети хорошо знают, а американцев не позвать, потому что у них получится Санта-Клаус, а нам нужен Дед Мороз.

Самое несправедливое в этой затее то, что в выходе Деда Мороза сам Дед Мороз — дело десятое, потому как, что-

бы он просто вышел на пятнадцать минут, весь такой долгожданный и неотразимый, другим мамам нужно переделать множество незаметных простому глазу вещей:

— пригласить гостей и рассчитать праздник под их количество;

— снять помещение (лично объездив несколько мест);

— написать сценарий;

— распределить роли, чтобы каждый знал свою часть;

— сшить костюм Деда Мороза;

— подготовить реквизит для фокусов, игр, праздника;

— купить подарки, вложив свои деньги (на моей памяти только один раз было, когда все деньги потом вернулись);

— украсить зал и елку, потом все убрать;

— организовать угощение;

— одеть Деда Мороза/раздеть Деда Мороза (если позволить ему раздеваться самому, непременно потеряются важные детали костюма);

— встретить гостей;

— провести праздник, разогрев публику к приходу Деда Мороза;

— собрать с гостей деньги за подарки и раздать тем, кто их вложил;

— развезти забытые вещи и выслушать претензии и советы зрителей, как надо сделать в следующий раз, чтобы было лучше.

Единственное, что не могут сделать мамы,— это выйти за Деда Мороза. Нет, они, безусловно, могут и это, но дети не поверят женскому голосу, и сказка будет разрушена, поэтому, как ни крути, нужен хоть какой-нибудь, а мужчина.

Практика показывает, что самое главное в деле взращивания Деда Мороза — это получить его согласие. Дальше проще: даже если он совсем двух слов сказать не умеет, то, попав в экстремальную ситуацию, начинает выбираться из положения, вспоминая всех увиденных за жизнь Дедов Морозов, и худо-бедно, а справится. Поэтому самое трудное — его заманить. А вот тут главная ошибка — с ним разговаривать, это провальная тактика и потеря времени. Вести переговоры следует с женой, мужчина в этом деле никакой роли не играет. Супруга в считаные минуты за него:

— испугается,

— примерится,

— почувствует кожей каждый возможный неудачный шаг и просчитает все варианты выхода,

— оценит общее впечатление со стороны,

— выдаст точный финальный вердикт — да или нет.

Мужчине на все это потребуется несколько дней и согласие супруги. Случаев, когда жена произнесла вам свое «Ну ладно», а муж потом выразил какую-то отличную от этого мысль, в истории человечества не было.

Обстоятельно переговорив с парой женщин, я остановилась на Вадике. Вадик оказался очень ответственным Дедом Морозом. Мало того что он добросовестно сделал все, что от него требовалось, он еще просидел ночь в Интернете, подобрал стихотворение и выучил его наизусть. Но и это еще не всё.

Вадик работал над образом.

Он сгонял в спортивный магазин и купил не-знаю-как-называется такие штуки, которые боксеры держат во рту на ринге. Ему это понадобилось, чтобы поменять произношение. Еще он вставил по шарику за каждую щеку — для изменения внешности. (Здесь остановимся и вдумчиво представим это нагромождение у себя во рту. Представили? Так... а теперь расправляем плечи, легкая улыбка, и вперед — ваш выход!)

Внешний облик Вадика, надо заметить, сильно не пострадал — все скрывала борода с усами, а вот дикция претерпела значительные изменения: то, что он говорил, разобрать было трудно, приходилось опираться на опыт детства и прикидывать, что обычно говорят Деды Морозы в подобных случаях. Если он скандировал короткими фразами громко и медленно, то это было еще ничего, но, когда он переходил на нормальную речь — он пришепетывал и жужжал. А самое главное, что родом Вадик из украинской глубинки, поэтому его нетвердая «г» (точнее, «гх») осталась в первозданном виде и среди потока нечленораз-

дельной речи сияла своей неизменностью и чистотой. По ней-то и вычислили его обалдевшие родители.

...Где-то за месяц до праздника, когда подготовка была в полном разгаре, подходит ко мне одна родительница и говорит:

— А ты не можешь сделать праздник без Деда Мороза?

— Как это?

— Ну он все-таки религиозный персонаж, и получается, что мы празднуем не Новый год, а Рождество.

Тут я, может, и опешила бы, если бы накануне не познакомилась со священником местной православной церкви. Пригласила их детей к нам на праздник, он поначалу обрадовался, но потом сник:

— Нет, мы не можем прийти, у нас Рождество, а у вас Новый год.

— Нет проблем, мы выучим пару колядок.

— Но у вас же Дед Мороз!

— Да! (Гордо.)

— Это языческий персонаж. Отступление от веры.

Я не преминула ввернуть про их празднование православного Рождества в декабре с католиками — это как? Но это, вишь ли, никак, нормально, а вот Дед Мороз — это отступление. Поэтому, когда мне с другой стороны выдали про нежелательность религиозного Деда Мороза, я не дрогнула:

— Ты знаешь, мне как раз на днях профессионал объяснил, что мы со своим Дед Морозом, оказывается, никакие не христиане, а черт-те че, поэтому не переживай.

Она принялась спорить, но, поняв, что, пока я здесь, ни один волос не упадет с головы Деда Мороза, зашла с другого боку:

— Тогда давай сделаем так, чтобы елки не было.

— Какой елки?

— Наряженной. Ты же не будешь утверждать, что это не религиозный символ?

— Для меня нет. Для меня елка — символ детства, праздника и ожидания чуда. Я хочу оставить детям это ощущение, тем более, мне нечем его заменить.

— Мы можем объявить «Праздник зимы».

— Праздник зимы — Масленица, это отдельная песня, это в феврале, давно хочу устроить — с блинами, посадскими платками и народными песнями.

Мы попрепирались, в результате чего она сказала, что они тогда на праздник не пойдут.

— Ну дело ваше.

Начался предпраздничный марафон. Мамы занимались подготовкой к елке, а мы с детьми учили новогодний репертуар на музыкальных занятиях. И вот тут началось. Как только начинаем петь «Ах, какой хороший, добрый

Дед Мороз», сын той мамы начинает диверсионную деятельность вслух и громко:

— А никаких дед-морозов на свете не бывает!

Среди детей тут же переполох:

— Как это? Ты что?!

— Да, не бывает! Это взрослые выдумали!

У девчонок сразу слезы на глазах:

— А кто же тогда подарки приносит?

Илюша не готов к ответу, поэтому затихает, а я беру инициативу в свои руки и переключаю внимание, но на следующее занятие он приходит подготовленный и начинает с порога:

— А подарки детям дарит никакой не Дед Мороз, а родители!

— Да,— парирует малышня,— и родители дарят, и Дед Мороз дарит — все дарят!

Илюша опять не знает чем крыть, ему нужна консультация, а я после занятия подхожу к маме и прошу ее поговорить с сыном, та сразу охать:

— Как ты себе это представляешь?! Я должна просить его врать?!

— Не врать, а не портить другим праздник, для нас это важно. Мы же не портим вам Хануку. Если для вас это проблема, то, пока мы готовимся к елке,— не ходите на занятия, потом вернетесь.

Она поджала губы, но на занятия ходить не перестала. Сын продолжает свою просветительскую деятельность среди прохристианской молодежи, но я, уже не церемонясь, перекрываю его. И наступает последнее занятие перед праздником...

В тот день мы мирно повторили про зиму и снежинки, но, как только я объявила, что песню «Ах, какой хороший» мы споем Деду Морозу, если он к нам придет, Илюша завел свое:

— А никакого Деда Мороза не существует!

Малышня тут же в крики, начинается обычная буза.

Шестилетний Яша, неожиданно:

— Я тоже думаю, что его не существует. Это взрослые переодеваются!

Встаю:

— Значит, так! Все очень просто: кто верит в Деда Мороза, к тому он и придет. И подарит подарки! А кто нет — тому нет.

Яша, скороговоркой:

— Но я вообще-то не уверен.

— Значит, у тебя есть шанс!

Илюша садится, насупившись, а мы продолжаем песню. Как вдруг! Четырехлетняя Машенька взвизгивает и, заныривая под стул, начинает голосить:

— Дед Мороз! Дед Мороз!

— Где?

— Там! — показывает на застекленную дверь.

Никого нет. Я тут же вворачиваю:

— Вот видите! Мы только запели про Деда Мороза, а он уже показался! Представляете, что будет, если мы здорово споем?!

И, воодушевившись, начинаем сначала. Через минуту еще пара детей верещит:

— Дед Мороз! Дед Мороз!!!

Но пусто в коридоре.

Тогда проводим эксперимент в третий раз: развернувшись и глядя на дверь, медленно и громко затягиваем:

— Ах, какой хорооооший, добрый Дед Морооoз, елку нам на праздник из лесу принееес...

И тут в класс заглядывает
самый настоящий!
живой!
большой!
Санта-Клаус!
Машет нам и убегает.

Как оказалось, он пришел на вечеринку этажом ниже, но, увидев детскую тусовку, решил и нас позабавить.

Это был конец света! Поднялся гвалт, дети повскакивали, родители зашумели. Я дождалась тишины и, глядя в упор на Илюшиного родителя, елейным, но чеканным голосом медленно проговорила:

— Папа Лева... Вы случайно не видели, кто там был?

— Видел.

— И что же вы видели, не скажете ли нам?

— Скажу. Я видел Деда Мороза.

— Какого такого Деда Мороза, папа Лева?

— Не скрою,— иронично подхватывает папа,— настоящего живого Деда Мороза.

— Спасибо,— и обводя взглядом аудиторию: — У кого еще есть вопросы по Деду Морозу?

Вопросов нет, народ безмолвствует.

И это не конец истории. Ружье, висящее на стене в первом действии, еще не выстрелило.

В праздничный день зал был украшен — гирлянды, огоньки, мишура.

Один папа, отвечающий за оформление зала, собственноручно вырезал тонну цветных снежинок. Не подумайте, что их нельзя купить или ему ночами нечего делать после полного рабочего дня. Просто хотелось, чтобы было, как у нас в детстве, мы делали праздник своими руками.

Одна бабушка сшила роскошный дед-морозовский костюм, бороду заказали длинную, ниже пояса.

Мамы украсили елку и, соединив бессчетное количество удлинителей, дотянули их до розетки в другом конце зала для традиционного фокуса «Елочка — го-

ри!». Устроили место для представления — полукругом, елка посередине, сбоку рояль и по залу стулья для зрителей.

Представление было построено по принципу соревнования двух команд — детей и родителей. Дети песню, и родители песню, дети танец — а и мы не лыком шиты. Взрослые выступали экспромтом, а детские номера, конечно, были подготовлены.

Гвоздем программы значился «Умирающий лебедь».

Танец шел под живую музыку — супруги-музыканты исполняли «Лебедя» Сен-Санса. Танцевали девочки-кнопочки четырех-пяти лет. Хореография была упрощена сообразно возрасту, но умирали мы точно как Плисецкая — крылышком наверх, и как Плисецкая — ни разу не встали на пяточку. Танцевали старательно-старательно, семенили на цыпочках, трогательно выводя каждое па, и вот уже финал... вот-вот последняя нота растает в вышине... и лебеденыши трепещут слабеющим крылом и косят в мою сторону, чтобы не прозевать главную команду: когда можно будет падать. Но чу! Еще не время, еще рано... еще плачет скрипка в руках виртуоза, и надежда рвется ввысь, но вот уже, вот... сейчас, и — и у одной сдают нервы, и тишину рассекает звонко-досадное:

— Мам! Ну когда уже умирррать?!

— Можно!

И девицы, как подрубленные, радостными кулями бухаются на пол.

И наступил час Деда Мороза...

Входить он должен был под Штрауса, «Так говорил Заратустра», но, увы, накануне магнитофон зажевал кассету, и Вадик являлся миру под рояль.

Первые мгновения — это как прыжок с высоты вниз — взрыв тишины посреди шума, и публика каменеет от неожиданности, взрослые становятся детьми, потому что для них явление Деда Мороза такое же острое чудо, как для маленьких — откуда? Но потом первый всплеск, первый звук, и всё оживает, крики-вопли, у взрослых улыбки до ушей, дети несутся в противоположные стороны: кто посмелее — к Деду Морозу, кто помладше — к родителям на ручки (самые маленькие там и остаются, и во всех песнях, плясках и даже играх они непременно участвуют, но сидя на родителях, как всадники на хорошо выезженных лошадях).

Вадик блистательно метнул приветственную речь — родители разинули рты. Они туго зависли в мучительном вопросе — КТО?! Вадик тем временем радушно беседовал с народом, его забавляло, что его не узнавали.

Я несла вахту у рояля, рядом с концертмейстером. Вообще, концертмейстер в своем деле был царь и бог, он мог совершенно всё, подхватывал с полуслова, с полумысли,

исполнял с юмором, реагировал мгновенно на любые команды. Единственная трудность была — эту команду ему дать, потому что он неутомимо делал попытки рвануть в противоположный конец зала за виски. В наших с ним убегалках-догонялках он лидировал с большим перевесом, что, впрочем, никоим образом не отражалось на его игре.

И вот, концертмейстер сидит спиной к Вадику и совершенно не следит за ходом действия, его единственная оставшаяся в живых антенна направлена на меня. И когда Дед Мороз прогромыхал свое: «А почему у вас, ребята, огоньки на елочке не горят?» — я обернулась на елку, всплеснула руками и подхватила с выпученными глазами: «Ой, и правда! Что же это случилось?!» — в ту же секунду концертмейстер, бросив на лету: «Ладочка, только не переживайте, я сейчас! Это, наверное, контакт!» — заныривает под рояль и мчит по направлению к удлинителю. Я в том же порыве ныряю следом и, с трудом вытаскивая концертмейстера за плечи, усаживаю на место с шипением:

— Сядьте вы, дите малое! Это же фокус «Елочка — гори»! Вадик сейчас все сделает!

— Ой-вей! — И засмеялся, уронив голову в ладони.

Нехитрый трюк с зажиганием елочки вызвал бурю детского восторга и перетек в кульминационный хоровод — танцуют все! Народ раздухарился, а концертмейстер, внезапно выкрикнув на украинском: «А зараз танок від Діда

Мороза!» — выдал забойный джаз, и Вадик стал лихо отплясывать, приведя публику в полнейший восторг.

Потом уже мы смело таланты наши Деду Морозу показали, и исполнили что приготовили, и в игры разные он с нами поиграл, и загадки всякие нам загадал. Дед Мороз был чудо как хорош — лучший в мире Дед Мороз!

Самое сильное впечатление, оставшееся у меня от того вечера,— это стайка детей, когда они, попривыкнув, плотно окружили Деда. Я единственная из родителей, кто видел их глаза близко, как скрытой камерой (подстраховывая Вадика, я постоянно держалась за его спиной). Они смотрели только на него, не замечая ничего вокруг. Не смогу описать, что было в этих распахнутых глазах — восторг, счастье, доверчивая открытость и готовность поделиться самым сокровенным. Я на месте Вадика не смогла бы выговорить ни слова. Он тоже обалдел, но, молодец, вел беседу спокойно, выслушивая всех, кивая и улыбаясь, сказывался опыт многодетного папы. (Потом, через несколько лет, другой папа, побывав в этой шкуре, скажет: «Это ужас! Они смотрят на тебя, как на оракула, и ждут!»)

Я очень пожалела, что не догадалась поставить фотографа за спину Деда Мороза, тогда бы он снял то главное, из-за чего мы затевали весь этот трудоемкий маскарад: глаза детей, это свершившееся для них чудо, когда сказка приходит прямо к тебе.

И, наконец, как всякий Дед Мороз, Вадик стал таять (когда детям говоришь: «Ой! Ему пора уходить, он тает!»). Ему и на самом деле дико жарко под бородой, шапкой, шубой, в варежках; не забывайте, что одеваются Деды Морозы обычно не то чтобы заранее, а от волнения слишком заранее и к моменту выхода уже страдают от жары (тут важно не подпускать близко жену, а то она, волнуясь, может подбегать к Деду с платочком, чтобы промокнуть лицо, и такое бывало).

Прощаясь, Дед Мороз поднял вверх мешок с подарками:

— Вот, ребята, вам подарки! Но завтра, в новогоднюю ночь, я вернусь и каждому под елочку положу еще один подарок!

— Ура-а! — Дети запрыгали, захлопали и засмеялись.— Урррa!!!

Концертмейстер заиграл отходную песню, и вдруг, среди всеобщего шума и ликования, осторожно раздвигая скачущих, к Деду Морозу продрался Илюша и шепотом спросил:

— Дедушка Мороз... а мне принесешь?

— Конечно!!! И тебе! Всем-всем!!! — размахивая руками, щедро меценатствовал Вадик. Он понятия не имел о наших заморочках.

Илюша осторожно взял его за рукав:

— Всем? И даже мне? Даже — мне?! (На его глазах стали набухать слезы.)

Вадик, наконец, сфокусировал свой взгляд на мальчике и оторопел. Обернулся ко мне с немым вопросом, потом опять посмотрел на ребенка. Контакт в его голове не замыкался.

— Конечно, принесу. Я всем принесу!

— Но мне же ты никогда не приносил?!

Вадик крякнул и обвел глазами притихших родителей...

— Как тебя зовут, мальчик?

— Илюша.

Вадик ласково погладил его по голове и сказал:

— Илюша... Я обязательно принесу тебе самый большой подарок.

— Сам?!

— Да. Я положу его тебе под елочку.

— Но у меня нет елочки.

— Обязательно будет! До Нового года еще целый день, просто мама с папой пока не успели, но у тебя — будет елочка!

— Ты обещаешь? — прошептал Илюша.

— Обещаю! — торжественно прогремел на весь зал Вадик, а я по закону жанра в этом месте должна была бы грохнуться в обморок, но выстояла.

Теперь к моим задачам прибавилась еще одна: обеспечить охрану Деду Морозу. Я опасалась, что разгневанная родительница наваляет ему по первое число. Ладно мне, я

привыкшая, а он-то вообще человек сторонний, согласился по доброте душевной, а тут... Я вообще так больше никого на эту роль не уговорю, если их на выходе будут отстреливать.

Но расправы не случилось, похоже, все были довольны.

В конце вечера ко мне подошли абсолютно добродушные и веселые Илюшины родители:

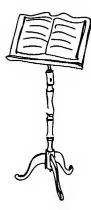
— Ну что, Лада Семеновна, придется нам завтра с утра идти за елкой!

Я подскочила:

— Правда?! И подарок положите?!

— А как же? Вадик же обещал!

Богатая Корейская Девочка



Была у меня ученица, я учила ее и ее брата музыке, играли с ней на скрипке и фортепиано и барочные дуэты на блокфлейтах, когда под настроение. Родители вбухивали в нее все, что могли: частная школа, каждый вечер педагоги по математике, языкам, прочим штукам, спорт. Девочка — прелесть: любознательная, обстоятельная, воспитанная.

Почему я зову ее Богатая Корейская Девочка? Как-то спросила у нее:

— Ты уже написала письмо Санта-Клаусу?

— Да.

— А что попросила?

— xxx.

— Что?

— xxx.

Не понимаю, похоже на сухофрут, но, кто знает, может, сленг? Начинаю уточнять. И правда, оказывается, сушеное манго, хорошая коробочка стоит меньше буханки дрожжевого хлеба. Недоумеваю:

— А чего так?!

Она, с неподдельной грустью вздохнув:

— А мне ничего не надо...— Опять вздох.— Это чтобы мама не мучилась и не выдумывала всякого.— Оживившись: — А вообще-то я ничего, люблю сушеное манго.

Так получила она под елку ящик сушеного манго, не знаю, сколько лет ела, но я потом долго рассказывала приятелям: «А знаете, что просят у Дедов Морозов богатые корейские девочки?»

Накануне одного дня рождения мы горячо обсуждали, что она хочет себе в подарок. Она изо всех сил молилась, чтобы мама подарила маленькую белую собачку. Шансов было немного. Я, зная, что мама не купит, потому что собачка портит паркет, задолго начала расписывать ей, как хороши рыбки. Нет, рыбки не прельщали.

Потом спрашиваю:

— Кстати, а что тебе подарили на день рождения?

Уныло:

— Фонтан.

— Что?

— Фонтан.

Я ненадолго зависла.

— Покажи?

И правда оказался фонтан. Но хотела-то собачку...

Однажды выдает мне вопрос:

— На каком инструменте быстрее научиться играть: на тромбоне, кларнете или на тубе?

Я опешила: что значит — быстрее? А какие сроки? Интенсивность занятий? Исходные данные? И что значит — «научиться»? Одно произведение на спор? Или до уровня читать с листа? Или на сцене играть? Если слюноотделение повышенное, то и начинать не стоит. Есть ли представление о музыкальной грамоте или с нуля? Если не с нуля, то после какого инструмента? Если, как эта девочка, после скрипки, то у кларнета и тромбона бемольный строй, ей будет затруднительно, а какой строй у тубы — понятия не имею. И вообще, зачем играть на тубе?! Вообразите себе маленькую девочку, исполняющую концертный номер на тубе... Хотя... у тубы в оркестре партия — T-D-T-D-T, а соло на тубе представить сложно.

Короче, на поставленный вопрос ответить не могу, похоже, просто не знаю какой-то важной детали, поэтому запрашиваю дополнительные данные:

— А тебе зачем, собственно?

— Я подала заявление в детский оркестр, у них вакансия на эти инструменты, конкурс на следующей неделе. Какой инструмент мне выбрать?

Ну, в обморок я не падаю, потому как такие заявы мне не впервой. Пара слов об этом оркестре для ориентации: это детский духовой оркестр, идут по улице в красивых костюмах и на ходу играют. На московской кафедре военных дирижеров подобное называлось «Военная аэробика», вот ученицу мою присушило.

Объясняю ей, что за неделю никак не успеть, особенно если будет конкурс. Она начинает ныть. Растолковываю, что если иметь гарантию, что на конкурсе будет она ОДНА, то за неделю каждодневных занятий могу с ней выучить какой-нибудь короткий мотивчик на кларнете, но любой первоклашка-кларнетист тебя обойдет, а в оркестре играть все равно не сможешь.

Ноет сильнее — ну очень хочет в полосатой юбке в оркестре играть, что делать? Одноклассники, мол, в основном на пианино играют, а пианисты не нужны, хотя все хотят, а я очень-очень хочу, я готова научиться!

— Ну тогда ищи тубиста, пусть учит, ибо в оркестре у тубы две ноты, ну три. А если и пять, в продвинутом варианте, то и это, наверное, одолимо, хотя я не понимаю, что за радость девочке на себе такую бандуру таскать, хоть и в полосатой юбке.

Она попросила порекомендовать тубиста, но тут я пас — я вообще никогда ни одного живого тубиста в глаза не видела.

На следующем уроке спрашиваю, как дела с конкурсом? Расстроенно говорит, что мама отговорила, не пошла.

Через неделю открывает мне дверь, прыгая до потолка:

— Меня в оркестр взялииии!!!

— На каком инструменте?

— На тубеее!!!

— У них нет тубистов? Обещались научить, что ли?

— Нееет! У них нет тубы-ы! Они говорят — очень тяжелый инструмент для ребенка, поэтому вместо него будет на ремне через плечо синтезатор с тембром тубы, он меньше весит! А я в заявлении на конкурс написала, что на фортепиано играю! Меня взялииии!!!

И играет ведь... У меня на уроке — страшенные фуги Баха, а там — двумя пальцами «ум — ум — ум — ум», и довольна безмерно.

Счастье — это такое дело...

Конкурсный марафон

Начиная со средней школы, многие ученики, точнее, их родители, планирующие поступление своих чад в хорошие колледжи, начинают гоняться за всеми доступными конкурсами, чтобы, как минимум, получить грамоту «За участие». У китайских и корейских мам это часто доведено до абсурда, поэтому мне приходилось отдуваться по полной программе.

Я готовила свою ученицу на музыкальные конкурсы по фортепиано и скрипке, мы поступали и поступили в пре-

стижный областной юношеский оркестр и даже побывали там первой скрипкой, мы играли на всех школьных концертах, но жизнь, в лице мамы, требовала покорения все новых и новых высот.

Как-то на уроке дает мне бумаги на два региональных конкурса (а мы только что отыграли на конкурсе юных пианистов). Беру первую: конкурс скрипачей, исполнять любой концерт, но она аккуратно забирает из моих рук бумагу:

— Этот в январе, сначала вот этот, пожалуйста, там документы на следующей неделе подавать надо.

Ну ладно, давай другой посмотрим, что там? Читаю заголовок. Медленно поднимаю на нее глаза. Выдерживает. Опять читаю, дышать начинаю глубже. Неимоверным усилием воли давлю в себе первую реакцию — эмоциональный взрыв, равный ядерному. Она ждет, тоже знает, что первые мои вопли надо пропускать мимо ушей, а потом настаивать на своем. А действительно, чего это я? Вон ведь отговаривала ее от конкурса тубистов, она меня не послушалась и что? Теперь первая тубистка в местечковом оркестре. Может, и тут так? Но теперь контора серьезная, местная филармония. И отбиться мне вряд ли удастся, потому что ее мама дама несгибаемая, так что по всему выходит, мое дело — телячье, и ребеночка готовить придется. Опять опускаю глаза и читаю медленно:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ДИРИЖЕРОВ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Ну, музыканты меня поняли, а остальные просто так пожалейте.

Спрашиваю с надеждой:

— И что, так сильно хочешь участвовать?

— Мне все равно.

— Тогда зачем?

— Мама говорит — надо.

— Как насчет того, что мы можем не выиграть?

— Дадут грамоту участника.

Потом прибавляет вяло-подбадривающее:

— Вы меня тактировать на две четверти учили, так я, в общем-то, помню.

Начинаю готовить пути к отступлению:

— Слушай, а может, мы все-таки сконцентрируемся на подготовке к конкурсу скрипачей? Мы и концерт Вивальди можем, и двойной — вы с братом дуэтом сыграете, представляешь, как будет эффектно: все играют по одному, а вы вдвоем, и...

— Я против,— подает голос брат из другой комнаты.

Поворачиваем головы в ту сторону и замираем ненадолго, хотя, впрочем, кто его, малявку, будет спрашивать?

— Нет,— отвечает ученица, мы сначала должны разобраться с этим.

— Тогда дай, я внимательно почитаю.

Оказалось следующее:

— дирижировать-таки огромным симфоническим оркестром. Победитель будет выступать со своим номером на рождественском концерте;

— возраст конкурсантов от тринадцати до семнадцати лет;

— принимаются дети, твердо владеющие каким-либо инструментом или с опытом дирижирования. Необходимые навыки: чтение с листа или умение читать оркестровую партитуру («или» меня приободряет);

— перед конкурсом ребенку предоставят одну консультацию у дирижера и одну репетицию с оркестром;

— на конкурсе предстоит продирижировать одной рождественской песней.

И тут, конечно, отлегло: ну не Бетховена хоть! Все понятно: ребенок должен знать мотивчик и приплясывать под него, помахивая в такт, а оркестр уж как-нибудь сам продержится. Победит, видимо, самый артистичный или по договоренности.

Но с дирижерской карьерой у нас не сложилось — на то же время был назначен конкурс юных математиков, и пополнить коллекцию дипломов решили в пользу математи-

ческого, музыкальные к тому времени и так были представлены в довольно широком ассортименте.

Хабанера

На уроках с учениками мы обязательно читаем с листа.

И вот как-то моему ученику-скрипачу, брату Богатой Корейской Девочки, попалась «Хабанера» из оперы «Кармен» Бизе. Отыграл он с обреченным видом несколько тактов и вдруг остановился:

— О! А мы сегодня это в школе проходили!

— Здорово. Ну расскажи мне, что ты запомнил.

Люблю с ним поговорить: начнет, как правило, с Моцарта и вдруг, без запятой, переметнется на бейсбол или предвыборную кампанию. Я, бывало, встрепенусь тревожно:

— Это ты к чему?

— Да так... тоже интересно.

Поэтому рассказ о хабанере обещал любые повороты...

И начал он монотонно рассказывать:

— Ну, оперу эту, про цыганку Кармен, написал француз — имя забыл, кстати, я не знал, что во Франции есть цыгане.

— Что ты, навалом. Правда, там речь об Испании, но и там тоже есть.

Он сокрушенно вздохнул, видимо, у него какой-то грустный опыт, связанный с цыганами.

— А в Корее есть цыгане? — заодно поинтересовалась и я.

Он недоуменно посмотрел на меня:

— Есть, конечно.

Теперь моя очередь удивляться. Я попробовала представить корейских цыган, точнее, как нынче говорят, корееязычных цыган. Законченный образ не складывался.

— А как они выглядят в Корее?

Он пожал плечами:

— Ну как обычно.

Не уверена, что мы с ним имеем в виду одно и то же, ну да ладно.

— Так, рассказывай дальше про оперу.

— Это хорошая опера.

— Я рада, что тебе понравилось.

— Вообще-то я не слышал целиком, только хабанеру.

— Ну ничего, остальное тоже неплохо.

— Мы еще не закончили оперу, поэтому я не знаю, что там дальше.

— Ладно, расскажи то, что знаешь.

— Про Кармен.

— Отлично, давай.

— Кармен — она меццо-сопрано.

— Ого! Да вы там, оказывается, серьезными вещами занимаетесь, а мы тут все про цыган да про цыган. Рассказывай про меццо.

— Ну, меццо-сопрано, оно не такое, как все эти сопрано.

— Объяснить можешь?

— Ну... сопрано ж поют так,— и провыл вполне закрытым голосом наверху.— А меццо-сопрано так,— поднял брови, опустил подбородок и повыл внизу.

Мои дочери-близняшки, сидевшие в стороне за уроками, побросали тетрадки и уставились на него. Он засмущался:

— Это я приблизительно показал.

— Нет, все понятно, молодец.

— Ой, а нам понравилось, понравилось нам! Спой еще?

— Я не знаю, что вам спеть... Я могу только Гершвина.

— Ой, пой что хочешь, а можно, мы тоже будем петь? Мам, подыграй нам! — И подскакивают к инструменту.

— Стоп! Стоп! Нет, мы петь не будем! — Тут только дай, сейчас и пляски устроят.— У нас урок. Мы сыграем хабанеру, а вы представьте, как ее могла бы спеть меццо-сопрано.

— Ну не-ет,— скисли они,— так неинтересно.

— Тогда садитесь и делайте уроки.

Они вернулись к тетрадкам, мы еще немного поговорили об опере, опера оказалась о любви и неравенстве полов (интересно, а если бы Кармен прирезала Хозе, тогда бы было о равенстве?), но говорить продуктивно мы не могли, потому что они еще не завершили оперу, пришлось отложить обсуждение на потом.

Заиграли хабанеру. Худо-бедно доковыряли до конца, и в комнате появилась его сестра:

— Это про это ты рассказывал, что вы проходили в школе красивую музыку?

— Да.

— Фигня какая.

Как мы возмутились! Братец заговорил, что это надо слушать «в пении», а не «в игре», а я параллельно: «Мы же читаем с листа!»

Сестра, спокойненько:

— Ну и что?

— А вот сама попробуй!

Она снисходительно взяла скрипку, сыграла и лениво изрекла:

— Ну так себе.

Тут уж меня заело:

— А так?!

Я поставила их двоих к пюпитру, а сама села за рояль, и мы от души вжарили втроем про испанскую цыганку этого француза с утерянным именем. А с аккомпанементом — это же совсем другое дело!

Девицы тут же подскочили к нашему празднику жизни и стали в две глотки голосить на «ла-ла-лала», изображая лицом меццо-сопрано, а плечами испанское меццо-сопрано, а в конце пение обернулось в танец под бурный аккомпанемент, уж за чем, за чем, а за балаганом у нас не

заржавеет. Так что хабанера у нас получилась что надо, а то ишь!

* * *

Закончив среднюю школу, Богатая Корейская Девочка поступила в очень престижную школу для умных девочек и прекратила частные занятия музыкой, потому что домой стала возвращаться под вечер, а по воскресеньям у нее оставались репетиции в двух оркестрах.

На какое-то время у меня в учениках оставался ее братец, но он человек рассудительный и вовлекать себя во всякие безумные проекты особенно не давал, на дирижерство симфоническими оркестрами не замахивался, в конкурсах красоты не участвовал, а маршировать по улице с тубой наперевес его не заманишь даже полосатой юбкой, поэтому занятия наши проходили тихо и гладко. Со скрипкой он постепенно смирился, тем более мама, чтобы оптимизировать его успехи, давала ему деньги за хорошие оценки, а еще пообещала ему, что если он достигнет успехов на скрипке, то она разрешит ему перейти заниматься на гитаре, о чем мальчик просил изначально, но безуспешно, потому что конкурсов игры на гитаре в округе не было. Мы достигли успехов, взяли диплом на каком-то мелком конкурсе, и мама сдержала обещание.

СМОТРИНЫ



Однажды присватала мне подруга-риелтор китаянку, только что приехавшую в наши края,— она дом за миллион покупала, гостиную присматривала под дочкин рояль, тут-то моя подруга меня и рекомендовала. Созвонилась, те приехали: мама, маленькая кругленькая, на жабку похожа, дочка, которая даже спит, наверное, по стойке смирно, и шкодливый пацан. Приехали на меня посмотреть-присмотреться. Речь шла о девочке, парень пока не занимался, но родительница собиралась дать ему семестр на адаптацию к новой школе, а попозже уже приступить к музыке (парень сразу скроил мне гримасу «и не надейся»).

Девочка, лет пятнадцати, что-то поклевала по клавиатуре, я оторопела, что для нее купили рояль, ей и синтезатор без педали нормально, мы немножко позанимались

под строгим оком мамы, и они удалились, сказав, что свое решение сообщат по телефону.

Вечером звонит:

— Вы нам понравились, нас все устраивает, но вас нужно показать моему мужу: все решения касательно наших детей мы принимаем вместе, поэтому он хочет на вас посмотреть.

Я маленько подзависла — когда жена ревностно желает посмотреть на учительницу, к которой муж будет водить детей, это я встречала, а вот наоборот нет. Спрашиваю:

— А он музыкант?

— Нет, он ничего не понимает в музыке, но должен видеть, кто будет заниматься с нашими детьми.

Ну ладно, даже забавно, я тоже хочу посмотреть на этого папу, ведите.

Приходят. Муж и жена оказались одного роста и похожи как две капли воды, если им махнуться одежкой — не заметишь подмены. Тихий дядечка сел на уголочек дивана, ручки на пузичке сложил и затих.

Позанимались с девочкой.

Родители довольно покивали и выдали:

— А теперь сыграйте нам что-нибудь. Мы хотим знать, как вы играете.

Я чуть дара речи не лишилась. Разразилась длинной тирадой, что игра — не показатель качества педагога, это разные умения, к тому же, чтобы играть, нужно немало заниматься, а на это времени у педагогов, как правило, нет, тем более, если вы не музыканты, что именно вы хотите понять по моей игре?!

— Ну мы хотим просто знать.

— Что вам сыграть?

— А что вы можете?

— Всё.

— Тогда сыграйте... Моцарта.

Сыграла кусочек вальса Шопена. Они захлопали — прекрасно, прекрасно! Затем полопотали что-то между собой, и слово взяла строгая маман:

— Мы абсолютно довольны, мы остаемся у вас заниматься. Но только при одном условии.

— Каком? — удивилась я, еще подумала — черт, надо было сразу отказывать, сейчас еще что-нибудь выкинут.

Она дает мне увесистую стопку нот и говорит:

— Вы будете учить нашу дочь только по этим нотам.

Опа! Это уже филиал Кащенко, но, прежде чем задать вопрос «Почему?», берусь рассматривать ноты — из чистейшего любопытства, скорее развлекаю себя вопросом — угадаю не угадаю причину. Оказалось, нормальные ноты, например сборник «Все вальсы Шопена», «Все сонаты Моцарта», сборники Баха, Черни, Листа, Джоплина, ноты для

начинаек с цветными картинками, в которых проходят нотную грамоту, музыка из фильма «Гарри Поттер» для исполнения тремя пальцами, много всего. Версий у меня нет, поэтому, наконец, спрашиваю:

— Почему только по этим нотам?

И получаю гневное:

— Вы знаете, сколько стоят эти ноты?!

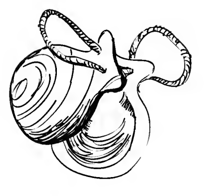
— Разумеется.

— Так вот, мы в разное время напокупали всего, а учителя зададут одну-две вещи из книги, и всё! Нужно другую покупать! Это сколько денег выброшено?! Вы будете задавать ей строго подряд, и, пока эти ноты не кончатся, я новые не куплю! Учителя сами не знают, чего хотят, бегают от одного сборника к другому!

— О, не переживайте! Если это единственная причина, то проблемы нет — я буду перепечатывать ей пьесы со своих нот абсолютно бесплатно.

Она опешила и сказала, что тогда все хорошо, и ей все равно, что мы будем играть. Я вломила им цену по самой высокой планке, подумав, что эти долго не продержатся, так хоть «чтобы не было мучительно больно...».

УРОК ФЛАМЕНКО



Все вышло совершенно случайно, впрочем, как всегда.

Перед последним классом подходит педагог и радует:

— На сегодня всё, спасибо, занятий больше не будет, вы можете идти.

(Какая прелесть!)

— Что-нибудь случилось?

— Нет, просто мастер-класс.

— А кто играть будет?

— Они привезли своего концертмейстера.

(Ого! Это кто такой богатый? Даже интересно, пожалуй, посижу, немножко посмотрю.)

— А кто приехал, что за урок?

— Фламенко.

(Вау! Тогда я остаюсь. Концертмейстер фламенко — это интересно.)

А этим же вечером в городе ожидался аншлаговый концерт фламенко, так оказалось, что прима из этой труппы и давала мастер-класс. На урок слетелось много студентов, девочкам раздали длинные красные юбки и туфли, а парни остались кто как. Пока все готовились, я разглядывала приезжих: несколько мужчин и женщина, вроде все испанцы; ждали тихо, не улыбаясь. Женщина маленькая, за мужчинами не видно, всем за сорок—пятьдесят; ни позы, ни понтов — все просто и достойно. Из них выделялся (выше остальных) один, его-то я и определила в концертмейстеры: волосы с сединой собраны в длинный хвост, красивый, ладно скроен, немного за пятьдесят, держался особняком, но главное: он откровенно маялся. (Правильно, если это он, то сейчас должен только просыпаться, ну в крайнем случае подумывать варить кофе, а вместо этого он уже встат, умыт-одет и стоит здесь почем зря, и все это — в двенадцать часов! Такой экстрим не для концертирующих музыкантов, все это ясно читалось в его мутном взгляде.)

Еще по нему было видно, что он безусловный любимец публики, устало тащивший за собой бремя обожания. И воображение автоматически дорисовывало вокруг него пестрый шлейф из молодых испанок, неотрывно следующих за ним, метя пол многоярусными подолами.

Итак, время подошло, все встали в несколько плотных линий, в последнем ряду пара преподавателей и секретарша. Меня тоже позвали, но я отказалась, осталась в засаде — хотелось посмотреть на концертмейстера со стороны.

Гостья — маленькая суровая женщина в черном, в обтягивающих узких брюках. Очень красивые ноги и линия бедра. «Наверное,— подумалось мне,— вечером сделает сценический макияж и будет то, что надо». Но, забегая вперед, скажу — вечером на ней и вовсе не было грима, ноги были закрыты, и смотрелась она лет на десять старше и толще, чем на уроке.

Начала она с того, что речь сегодня пойдет об аутентичном цыганском фламенко, а не о сценических попсовых стилизациях, к которым привыкла публика. И прежде всего нужно понять ритм.

Фраза фламенко состоит из двенадцати долей, и акцентируются следующие доли: первая (и даже не всегда) — третья — шестая — восьмая — десятая — двенадцатая.

Сложили ладошки и стали хлопать. Весь урок был выстроен на этой ритмической цепочке. Постепенно гости наполняли свою схему трудноуловимыми европейскому уху ритмическими россыпями, но от студентов этого не требовали.

Началось с рук: плавное движение наверх и работа кистями. Очень красиво. Руки плыли с нижней точки до верх-

ней, кисти жили самостоятельной жизнью, неявно подчеркивая те самые акцентные доли. Она показывала, а класс пытался вторить ей, сосредоточенно глядя в одну точку. И потом уже мало-помалу пошло движение под счет. Постепенно одно прибавлялось к другому, наслаивалось, напоминая раскручивающуюся неповоротливую махину.

Она не исправляла и не поправляла. Студенты, хоть и делали то же самое, были подобны отражению в кривом зеркале, где абсолютно все, в принципе, совсем не походило на нее, и привести это к одному знаменателю за два часа было невозможно: она — немолодая, приземистая и черноволосая, девицы — удлиненные балетные барышни англосаксонского типа;

в ее движениях скрыта драматическая сила, страсть, способность к мгновенной реакции, у них — холодность и отстраненность;

ее лицо приковывает и не отпускает, сквозь частокол их похожих юных лиц взгляд проскальзывает не задерживаясь.

В них не было главного, что сделало бы их похожими: до предела сжатой внутренней пружины, ощущения сдерживаемого крика. Да, они повторяли ее движения, но во всем этом виделись славные девочки, которым в радость новый урок, новые юбки и новое амплуа. Все те же движения танцовщицы были о другом.

Они поработали около часа, разучивая и постепенно усложняя одну секвенцию. Получалось все слаженней и

слаженней, и начал вызревать азарт. Ритм становился жестче и уверенней — перестук каблуков, хлопки, ее окрик-счет, все вплеталось в жесткую сетку танца. Даже у секретарши, наяривавшей в последнем ряду, в локтях появилась синкопа. Градус урока накалялся.

— А теперь, пожалуйста, с аккомпанементом,— объявила она и взглядом пригласила музыканта...

Он встал и медленно пошел через зал, волоча за собой свой невидимый шлейф. Все молча смотрели ему вслед. И тут меня бросило в жар: у него не было гитары! У НЕГО НЕ БЫЛО ГИТАРЫ!

Он шел к роялю!

Этот пират Карибского моря — пианист?!

Он что, фламенко будет на рояле играть?!

ИГРАТЬ ФЛАМЕНКО НА РОЯЛЕ?!

Такое невозможно было даже вообразить! А я чуть было не ушла домой!

Как, как он передаст эти жесткие гитарные переборы?! Это надрывное сплетение гитар и голосов? Этот жар и пряность фламенковских рвущихся струн — на рояле?! Ну ладно, что угодно можно сыграть на чем угодно, и Берлиоза на балалайке, но эффект?! И вряд ли его необузданную партнершу устроит жалкий суррогат? А, судя по тому, как он шел, как плыли по залу его широкие плечи, было понятно: он устраивал ее абсолютно во всем.

Пройдя через весь зал, он дошел до рояля,
наклонился, не сгибая спины,
взял стул и,
не меняя выражения лица,
понес его прочь...

Не дойдя метра три до танцовщицы, поставил стул и сел. Величественно застыл. Наконец, медленно повернулся и кивнул: готов.

(Я все еще не дышала.)

Она быстро обернулась к залу, вскинув руки: по коням! Танцоры вытянулись, она резко кивнула ему, и он захлопал в ладоши.

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп... двенадцать раз, потом двенадцать, потом двенадцать, без акцентов и сильных долей... Не подумайте, что громко.

Посмотрев на него минут пять и не увидев никакой динамики, я решила: пожалуй, если так и дальше пойдет, надо будет вписать в свое резюме, что я могу сопровождать еще и класс фламенко...

Студенты, не сводя с испанки глаз, двигались под его ладоши и ее счет. Она коротко выкрикивала наперед что делать, сочетая выученные элементы с новыми, на ходу создавая нескончаемые комбинации, а у концертмейстера все было неизменно: он сидел с каменной спиной на моем стуле и хлопал.

Через какое-то время добавилась правая нога на те самые первую, третью, шестую, восьмую, десятую и двенадцатую. Хлопками эти доли не поддерживались.

Потом слабые доли он отдал левой ноге, но в руках появилась «и», изредка и по две «и» зараз. Даже записала, такое разве упомнишь?

Концертмейстер, выдавая на гора́ свой ритм, на уроке как бы не присутствовал. Он был полностью погружен в себя, совершенно не глядел ни в зал, ни на даму, хлопал, не выходя из своего замороженного состояния. Но это только на первый, поверхностный взгляд. Но у меня-то «первого взгляда» не было! Я находилась в зале с единственной целью — понаблюдать за ним. Все остальное отвлекало меня не больше, чем вода, налитая в аквариум, чтобы рыбка, которую изучаешь, резвее плавала. Когда его взгляд приближался ко мне, я уводила свой подальше, чтобы не выдавать присутствия. Я даже записывала, но поначалу. В конце уже смотрела на него во все глаза, как кролик на удава: не отрываясь, не двигаясь и не предпринимая попыток к бегству.

Через некоторое время его взгляд осторожно, сквозь пришторенные веки, пополз по девицам, как у цыгана, приценивающегося к чужим лошадям. Он медленно и безучастно переходил от одной к другой и, наконец, наткнулся на девчонку с отделения модерна и застыл. Я дав-

но уже наблюдала за ней: она выделялась. Хотя для нее фламенко было также внове, она путалась и старалась успевать, но в ее танце присутствовала натянутая струна, робкий вызов: ее тело ответило на экзотический зов.

Он взглянул на испанку, она поймала взгляд и едва уловимым движением подтвердила, что тоже заметила девочку, они за долю секунды поняли друг друга и перекинулись о находке. Вообще между ними была протянута невидимая нить постоянного общения, которое не останавливалось, даже если они смотрели в разные стороны.

Постепенно три ритмические линии (его, ее и девиц) переплетались; темп, жар танца, каскад ритма, концертмейстер, сидящий лицом к классу,— и тела девиц стали пластичнее, в глазах появился азартный блеск, даже воздух в зале выглядел насыщеннее. «Понятно,— подумала я, начиная потихоньку вникать в тонкости новой специализации,— значит, „концертмейстер фламенко широкого профиля“ — это неправильно, а строчка в моем резюме должна звучать так: „Концертмейстер фламенко в мужском классе“».

Впрочем, скоро стало ясно, что он не просто концертмейстер, или не только концертмейстер, или, скорее даже, концертмейстер фламенко — это совсем не тот жанр, что концертмейстер балета. Мы импровизируем на чужую мысль, при малейшем несоответствии нас останавливают.

Тут же происходило следующее: он, безусловно, импровизировал. Она тоже. Но они постоянно перекидывали друг другу этот огненный шар лидерства — то она ловила его мысль и подчинялась его воле, то, наоборот, он поддерживал и украшал ее танец. Иногда они разом оборачивались друг на друга, видимо проверяя, заметил ли другой какую-то сиюминутную находку, или перебрасывались короткими словами на испанском.

Для них это не был урок. Это было давно начавшееся течение их жизни, их нескончаемый творческий (и не только) диалог, просто сегодня он совпал с открытым уроком, который, как прозрачная субстанция, просто прошел сквозь них, не нарушив их вечного совместного движения.

Когда до конца оставалось минут пятнадцать, они быстро поменялись местами, и он стал показывать. Его комбинация была жестче, азартней, без красивостей рук, с внезапными остановками. Класс и охнуть не успел, как начал повторять. Это окончательно меня сразило, тут же привиделся параллельный сюр: идет себе классический урок, и вдруг пианист вскакивает в творческом порыве, резко показывает педагогу пальцем на свой стул, тот одним прыжком подскакивает к роялю, пианист тем временем быстро дает свой гранд батман, который только что в горячечном экстазе пришел ему в голову, педагог, боясь упустить момент, бацает отрывистое вступление, и у класса, как у еди-

ного организма, на «раз» нога стремительно взмывает в потолок. Урок продолжается...

Финал больше напоминал ритуальное действие, где нервы и тело, все на пределе, на разрыв. Он, виртуозный танцор, задав сложнейшую комбинацию, требовал точного повторения. Если был недоволен — обрывал и, не останавливая движения, начинал опять. Общий гул ритма подхлестывал идти только вперед, мощная воронка его темперамента затягивала всех, кто попадался на пути, сопротивление бесполезно. Он, как шаман, гипнотизировал толпу, которая, не переводя дыхание, забыв, что это не ее зона, без колебаний шла за ним как в омут, из которого не было пути назад.

Остановились, как очнулись, опустошенные.

Испанцы коротко поблагодарили класс и сказали — встретимся вечером.

* * *

Вечером был аншлаг, яблоку негде упасть. Буйствовала испаноговорящая публика, да так, что было тревожно: сейчас начнут сыпаться с балконов.

Из программки узнала, что, оказывается, «концертмейстер» на самом деле — основатель, художественный руководитель и идейный вдохновитель компании «Noche Flamenca», а танцовщица — его муза и жена.

Почитала про компанию: ездят в экспедиции для изучения аутентичного фламенко, записывают, собирают, хранят, учат молодых. Бывавшая на концертах фламенко не однажды, я потащила с собой детей, но на этот раз зрелище оказалось несравнимо далеким от того, на которое я рассчитывала.

Никаких ярких цветов и знойных дам — все черное, одна-единственная женщина, появившаяся только во втором отделении, остальные — немолодые мужчины. Никаких красивостей, от которых захватывает дух; темнота в зале, темнота на сцене, освещен очень узкий фрагмент действия, что сначала мешает, потом понимаешь, что так будет всегда — неспокойное ощущение неуместного присутствия в чужом доме.

Зал, напротив, был им «своим», активно участвовал и бурно реагировал: то взрывался одобрительным «Оле!» [1], то по неведомым причинам сокрушался горестным эхом: «Оле...»

Обычно любое действо на сцене логично выстроено — подъем и спад, контрасты, напряжение и расслабление. Ничего подобного здесь не было: одна сплошная кульминация, как взяли сразу на напряженной ноте, так и держа-

[1] В испанском языке выкриком «Оле» (ударение на «о») публика выражает свой восторг, одобрение, причастность к происходящему на сцене.

ли. Хотелось спрятаться. Минут через пять ошалевшая дочь срезюмировала:

— По-моему, этого дядю перед выходом кто-то очень сильно разозлил.

Вторая добавила:

— По-моему, всех разозлили.

Шикнула на них.

Через некоторое время они начали страдать:

— Мам, можно мы пойдем в коридор?

— Нет.

— Мы не можем здесь больше сидеть, хочется зареветь!

— Поспите пока.

— Это невозможно! Они так громко орут! А после перерыва можно мы поедем домой?

— Нет.

— Мы будем комнату прибирать и уроки делать.

— Нет.

Действительно, находиться в зале было тяжело — темнота, узкое пятно света на сцене, очень громкий, очень резкий звук, непривычное пение, вталкивающее тебя в напряженное состояние, хотелось все время цивилизовать певцов: сгладить голоса, «вычистить» интонацию и специфическую хрипоту — словом, все было против шерсти, все не давало спокойно смотреть на танцоров.

Но чем дольше шел спектакль, тем очевиднее становилось, что главное в мрачном таинстве — не танец. Кантао-

ры[1] вели действие, именно они были незримыми черными кукловодами, настолько бóльшими по росту по сравнению с танцующими фигурками, что глаз их не замечал. Пожалуй, они даже не диктовали танцорам, они были «над» ними, сами по себе, как духи, как тени предков, которым известно все прошлое и будущее, и они просто говорят друг с другом, а ветер вечности несет в испанской ночи их слова, продувая и наполняя музыкой, а гитара — это проводник между небом и землей, между огромной вселенной и маленьким беспокойным человеком, который вот он, танцует, как на ладони, в своем упорном убеждении, что он центр мироздания. Взгляд прикован к танцору и следит за сложным ходом его игры, в то время пока кантаор выворачивает тебе кишки наружу. Когда спохватишься — поздно будет. (Как в подтверждение этой мысли, старик, сидевший рядом, половину действия вообще не смотрел на сцену, подперев голову рукой, слушал. Как я хотела знать, о чем они поют!)

И постепенно, привыкнув к темноте и звуку, переварив все непривычное, что свалилось на тебя, начинаешь понимать, что, при всей вторичности танцоров, они и музыканты — сообщающиеся сосуды, через которые прогоняются огромные потоки этой дикой, необузданной энергии, а уж кто совсем не нужен здесь — это ты, зритель. Это не они

[1] *Кантаор* — певец фламенко.

пришли сюда выступать за деньги, а мы попросились посмотреть на них, и позволено нам было, но только тихо. Хотелось вжаться в кресло и просидеть незамеченным — неужели не дадут расслабиться хоть на минутку, чтобы протянуть до конца? Но нет, только плотнее сжимаются кольца у горла, и накрывает плотным душным покрывалом состояние надрыва и неотвратимости чего-то страшного, стоящего за спиной. Дайте света! Дайте сладкоголосых песен, красивых гитарных переборов, дайте вздохнуть, отпустите уже душу на покаяние! Зачем я здесь?

Немолодые, сверхвиртуозные танцоры вытворяли ногами такое, что не всякому молодому профессионалу под силу. Захватывало дух, назвать это «дробями» не поворачивался язык, даже на детей произвело впечатление:

— Мам... а что это — дядя фокусы ногами показывает?

— Ну типа того, да.

— Тебе нравится? Очень тяжело, почему они музыку не поменяют?

— Нельзя, это самое настоящее фламенко, таким оно было раньше, другие исполнители меняют и делают приятным, но эти люди хотят танцевать то самое, настоящее.

— Зачем? Оно пугает.

— Чтобы мы знали, каким оно было раньше.

Но внутри меня давно уже вызрело, что где-то я видела подобное, и была уже эта кромешная темнота зала, отто-

родившая от мира и безжалостно оставившая наедине с собой; и ни единой улыбки на лицах; и ничего, кроме артистов и их гортанных трубных голосов; и это неприветливое дыхание архаики; и так же мало происходящее на сцене напоминало свой привычный стереотипно-попсовый вариант — на концерте ансамбля Дмитрия Покровского.

Они приезжали к нам в город выступать, я обзвонила семьи, которые водили ко мне детей на занятия,— приходите, вряд ли второй раз будет такая возможность. Я раньше не видела их живьем, но представляла, что это будет непростое зрелище, поэтому собрала всех детей на первый ряд и села за ними, чтобы цербером пресекать прыганье по рядам, но случилось невиданное: четырех—шестилетние дети, застыв и разинув рты, сидели, не сводя глаз со сцены. Тогда мы рискнули оставить их на второе отделение, на котором исполнялась сложная современная музыка. И это они прослушали на одном дыхании. До концерта мы успели напроситься на фрагмент их мастер-класса — водили на сцене хороводы и пытались петь гортанным звуком эти дикие и совершенно чуждые нам русские народные попевки, мы и повторить-то их толком не могли, и только одна маленькая новгородская девочка вдруг заголосила правильным звуком, а ведущая тихонечко показала мне на нее, мол, смотрите. Мы спросили девочку:

— Занималась ли?

— Нет.

— Слышала раньше?

— Нет.

— Но какая молодец, ты все правильно поешь.

— Так просто же! — удивилась она.

Ничего себе «просто», я даже приблизительно не могла воспроизвести этот звук.

И меня вдруг поразила эта параллель — два ансамбля, две похожие, но бесконечно далекие друг от друга планеты, два отголоска из далекого прошлого, две фольклорные лаборатории, которые ездят в экспедиции, живут деревенской жизнью месяцами на натуральном хозяйстве, собирают, архивируют, добывают уходящее, бережно, как величайшую ценность, хранят. У девушек из Покровского костюмы сшиты из тканей, подаренных старушками, которые сами соткали их для своего приданого, да так и не пригодилось, вернее, берегли на черный день. Достали из старых сундуков и отдали гостьям, а те с гордостью рассказывали нам об этом и могли объяснить каждый вышитый стежок на своих костюмах (да и костюмами их уже не назвать — музейные экспонаты). И половина книжки-программки концерта фламенко была занята под перечисление спонсоров и меценатов, на деньги которых существует компания, проводятся исследования, концерты, передается опыт молодым, собираются экспедиции, и это — фламенко, которое в

Испании существует не только как эстрада, а само по себе, каким оно было и наверняка будет, потому что живы люди, для которых это часть жизни. А наши?

Никому ж не нужны, кроме себя.

Спонсоры? Шутите.

Когда умер Дмитрий Покровский, единственный, кто протянул руку уникальному ансамблю,— личный друг, Юрий Любимов, который предоставил им место для репетиций, «порт приписки» — театр на Таганке. Так бы и развеялись они по миру, если бы не он.

Речь же не идет о том, чтобы петь, как они, а просто чтобы они — были. Как хранители, как реликт, как память нации. Это такая удача, что есть люди, которые делом жизни выбрали этот путь — строить мост, связывающий нас с прошлым. Они — наш откуп, они несут то, что нам в тягость. И позволить, чтобы они так и пропали, как неосторожно пролитая на землю вода? Такое непростительное расточительство? Такое отношение к национальной памяти присуще бездомным, которым нечего помнить. Что это — вечное сиротство? Не поэтому ли так порой хочется прицепиться к миражу, к золоту самоварному, схватиться за какие-то обрывки памяти, пошлые сувениры и знаки причастности к предкам в доказательство своего несиротства: вот мы! Мы есть! Но каждый раз рвется нить в малом, и брат идет на брата, и нет до нас предков, мы каждый раз первые и все начина-

ем сначала — вечный путь блудного сына, так и не нашедшего дорогу к дому.

Как-то готовила детское выступление на русском фестивале. Заказывала ростовой костюм медведя. Звоню знакомой из ансамбля Покровского, с которой подружились после того концерта, и прошу накидать материал «вокруг» медведя.

— А медведь-то к чему? — охнула она.

— Ну так символ же? Символ России.

Как она расшумится:

— Да какой медведь?! Стилизаторы несчастные! Хоть бы почитали чего-нибудь! С медведем цыгане по ярмаркам ходили, цы-га-не! Коза! Коза — тотемное животное России, вокруг нее все песни-игры-пляски, маску козы вам нужно, а не костюм медведя.

— Ой, так как же... теперь все на козла переделывать?

— Не козел, а коза, это разное,— записывай!

И она гортанно пела в трубку: «Мы не сами йде-ом, мы козу ведеоооом»,— я записывала и повторяла, а она исправляла и требовала повторить правильно, так и летело через океан туда-сюда: «О-го-го, коза-а, о-го-го, сера»...

А потом, на выступлении, мы шли с детьми и голосили: «Мы не сами йде-ом, мы козу веде-ом»,— и прыгал мальчик в настоящей маске, присланной из Москвы, и были не нужны нам зрители, это не для них мы шили костюмы, репети-

ровали без конца и учили незнакомые, чужие нашему уху песни, это было наше, пусть игрушечное, но несиротство.

И шел полным ходом концерт фламенко, но не могло уже отпустить ощущение, что с ними рядом на сцене ансамбль Покровского, и постоянно менялись они местами, проходя призраками друг через друга, и перекликались эхом их похожие резкие голоса. Я прогоняла видение и старалась оставить на сцене только испанцев и думать только о них — о кантаорах и танцовщице, пыталась понять их.

О чем они пели?..

О чем рыдали ее руки?..

Надо будет поискать переводы их текстов, наверняка же есть, вон что с публикой творится, какие неистовые овации...

И дети потом, по дороге домой, среди многочисленных вопросов о концерте задали такой:

— А о чем они пели?

— Не знаю.

— А как понимать тогда?

— Это, в принципе, не так важно, это — танец, его понимают без слов, как музыку. Танцор танцует о своем горе, а зритель думает о чем-то своем, это иногда совсем разные вещи.

— Да, точно, дядя рядом со мной все время грустно вздыхал: «Оле...»

— Но если у тебя в башке пусто,— занудствовала я,— то ты вряд ли начнешь думать-отвечать. Тебе просто будет скучно.

— Тебе было скучно?

— Нет.

— А у тебя какое горе?

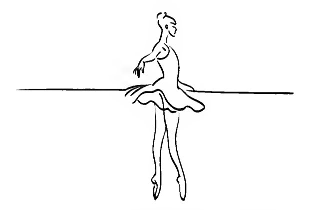
— Мм... да никакого.

Вставляется другая дочь:

— А у меня вот тоже никакого горя нет, поэтому мне за просто так настроение испортили!

И только потом, после детского случайного вопроса, мне пришло в голову, что эта возникшая параллель с ансамблем Покровского, ошибочно принятая за естественное сравнение, может, и было мое «Оле...»?

МАСТЕР-КЛАСС



Если танцор стремится показать, что гравитации нет, то это балет. Если танцор стремится показать, что гравитация его гнетет, то это модерн.

Том Парк

Я классический балетный концертмейстер и модерну никогда не аккомпанировала, да никогда и не возьмусь. У нас им аккомпанируют, разложив перед собой десяток экзотических инструментов, которые выхватывают, как фокусники, и используют в нужный момент, одной рукой пианист играет на рояле, другой — на батарее ударных, на ногах у него звенящие браслеты, на шее губная гармошка. Иногда приглашают для аккомпанемента трио музыкантов, но там уже совсем запредельные фокусы. Поэтому, когда меня пригласили играть мастер-класс педагогу-репетитору при-

ехавшей труппы контемп-балета (современный балет), я засомневалась, не модерн ли это? Но меня уверили, что у них классический станок (в модерне станка вообще нет), стало быть, играть — мне. Ну мне так мне, позвала с собой любимую преподавательницу, ей тоже интересно. Приехали, болтаем в уголочке около рояля, ждем.

Появилась небольшая компания, встали, тихонечко переговариваются, и, наконец, я расслышала, как сопровождающая обратилась к одной гостье:

— Пойдемте, я вас представлю вашему концертмейстеру.

«Значит, играть буду ей»,— подумала я, и холодная иголочка разочарования тихонько кольнула изнутри, я бы предпочла играть статному мулату, который вошел с ней.

Гостья встрепенулась: «У меня будет пианист?» — и поискала меня глазами. Ее улыбка стала скорее встревоженной, больше из вежливости, похоже, я тоже разочаровала ее: все-таки лучшие концертмейстеры, работающие в танцевальных компаниях, всегда мужчины. Мы обе увидели не то, что хотели.

Нас представили. Она, по ощущениям ровесница, была маленькая, замотанная в кучу шарфов, как будто небрежно нарисованная серой акварелью, неприметная и тревожная, без грамма косметики на лице (в противовес классическим балеринам, которые не выходят на люди без полной боевой раскраски). Хотела было сказать ей привычное о том, чтобы делала что хочет — я поймаю, но

что-то и этого не захотелось — чего зря слова тратить? Все равно скоро все станет понятным, не хотелось мне разговаривать, спросила только, будет классический класс или что-то особенное?

— Да-да, классический,— поспешно закивала она,— но только станок, середину буду вести не я, под это будет диск.

Мы немножко молча постояли, но, поскольку тема была исчерпана, разошлись каждый по своим углам. До конца серого тихого дня оставались считаные минуты, минуты до начала урока, после которого я буду возвращаться в нормальное состояние почти сутки.

— Ну что, начнем? — спросила она, приглашая студентов к станку. Этими словами часто начинают открытые уроки, ничего особенного. Те, кто пришел заниматься,— встали, человек пять зрителей сели, а я и так уже сидела на своем месте. Я люблю сидеть за роялем, даже когда урок еще не идет,— здесь я чувствую себя в закрытой полусфере безопасности, вне времени и пространства, вне волнений и вообще вне жизни. Невидимая и никому не нужная, я могу наблюдать за тем, что происходит вокруг. Я ждала. Легкий азарт, как у гончей, которая почуяла пусть некрупную, но дичь, инстинкт охоты и дразнящее таинство неведомого делали свое дело.

Сильвия положила руку на станок и стала показывать плие, вполне обычное — два деми и гранд, но почему-то музыка не появлялась автоматически в моей голове, и,

удивленная мертвой паузой внутри, я подумала, что, пожалуй, тут все стандартно — мягко-светлое плие — неспешное начало урока. Но подниматься из гранд плие она стала как в сюрном кино: с опущенными плечами и уроненной головой, как бы преодолевая толщи воды, и все дальнейшее проходило как будто под водой, как будто воздух стал наливаться и тяжелеть и оказывать сопротивление каждому ее движению. Какое там нежно-ласковое начало? По ощущениям мы уже были на дне океана, и предстоял путь наверх, и большой вопрос — продеремся ли?

Музыки не рождалось. Прислушивалась к себе — куда идти, от чего отталкиваться? Смотреть на какую-нибудь студентку и играть под нее — так она такое может навалять — это мне не опора, но Сильвия, привычная к тому, что одного показа мало, не отошла в сторону, а стала выполнять упражнение со всеми, чтобы можно было на нее смотреть. И я стала играть за ней, вцепившись взглядом и не отрываясь ни на секунду, сначала осторожно, а потом без колебаний следуя за тем, что вижу, без коррекции на здравый смысл и собственный опыт (у меня нет опыта по всплыванию с морского дна).

Я не джазовый пианист, мне не хватало их колючих гармоний. Балет — это линия, это внятно «изреченная» мысль, и в музыке нужна, соответственно, мелодия — красивая и графичная, а то, что я видела, было другое — это Состояние, и тут не до мелодии, нужна гармония и излом.

Она показывала. В ее движениях чувствовалось упрямое напряжение, гуттаперчевое тело плыло хроматизмами[1], ни одной остановки-фиксации поз, и меня снесло на «Донну Анну» Курехина, в ту сферу.

Что резануло — где начало? Где интродукция-ввод в настроение? Где плавный переход от размеренного и разумного к неизбежному полету в конце? Сразу — раз по башке — а теперь будем выживать! А сориентироваться? А медленно расправить плечи и сделать первый шаг?! Всё! — час пробил, взрыв произошел, кто выжил — вперед и не оторвитесь по дороге!

Она показывала чуждое идеально выверенно, мне не нужно было прикидывать в уме где что или делать скидку на плохо рассчитанное движение. Можно было моментально включаться в музыку, не теряя времени,— с разбега, с размаха, не боясь подставы.

От классического станка оставались только названия. Названия! Но даже смысл и значения неведомым образом трансформировались. Мне не на что было ориентироваться, только на ее тело. Из нее густо капала энергетика и эмоция. Безостановочное движение туго переливалось, как расплавленный янтарь, ни одного острого движения, все пластилиново, все перетекало из одного в другое.

[1] *Хроматизмы в музыке* — движение по полутонам.

Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, что мы совпали,— ко второму упражнению она поменяла место и встала около рояля. Сцепка произошла моментально, как будто она меня долго ждала, как будто ей было обещано, что я приду,— и она дождалась — узнала и признала моментально.

Меня же сначала пугало это свалившееся ощущение взаимопонимания, ее стальной взгляд в упор, ощущение, как будто давно идем в жесткой связке по краю, когда уже любое слово — лишнее, и просто чувствуешь партнера, предвосхищая и поддерживая каждое его движение, не проверяя; когда все обострено, потому что внизу — обрыв, а впереди — свет, потому что ты — не один, а тебя хранит и держит тот, второй, в связке, и это самая надежная опора из существующих, и ты не замечаешь больше, что под ногой — пропасть.

Урок всегда идет по нарастающей — к большим прыжкам. Я играю — а уже всё, всё навзрыд, на грани вульгарного, как в русской рулетке — на разрыв, когда осталось — крутануть барабан — и в висок. И я испугалась — а что же к большим прыжкам будет?! Куда ж дальше-то?! Нужно притормозить, оставить что-то на потом. Что же потом?! И вдруг озарило — так я же не буду играть прыжки! Это будет после меня! Значит, мне не нужно оставлять резерва и можно дать волю тому, что вырывается бурлящим потоком.

Я не помню деталей, я не помню студентов, я заполняла пространство, которое густо заворачивалось вокруг нее.

У нас шел постоянный внутренний диалог. Мало этого, она, ведя урок, говорила «мы».

МЫ.

«Мы дали вам темп, держитесь внутри него».

«Движение задает педагог, но концертмейстер трансформирует, наполняет его, привнося добавочную суть и эмоцию. Дышите музыкой».

Я видела сотни разных педагогов, но никто никогда не говорил «мы».

Класс уже близился к завершению, Сильвия задавала очередную комбинацию, и вдруг я встала намертво: «А что это?..» Как-то до этого мои импровизации ложились на ее, все рождалось за секунды, а тут задумалась... Движение выглядело выпадающим из предыдущей череды. Обычно во время показа внутри меня довольно быстро срабатывает какой-то щелчок, и дальше мне уже необязательно смотреть, музыка уже звучит внутри, а тут — молчком. Уже скоро играть, а у меня никак. Начала про себя тупо считать, чтобы просто повторить пульс, но все как-то не так, как у нее было до того. Нет, хроматизмы явно остались, но появилась какая-то четкость. Попробовать танго? Но танго слишком откровенно для этого движения, тут более затаенно... В конце осенило — попробую-ка я хаба-

неру из «Кармен», вроде она как раз (хотя в комбинации присутствует «утюг», который здесь называют «русский сапог», но русское у меня совсем ничего не шло).

Быстро подняла пюпитр. Поставила листочек и сижу жду. И вдруг, вот те раз — идет прямо ко мне. Ох, как я этого дела не люблю! Сейчас попросит что-нибудь конкретное, а может, я этого не знаю? И комбинацию до конца не просмотрела, ох...

— Вы не можете нам сыграть что-нибудь эдакое? — спросила она и повела плечом. Ни один мускул не шевельнулся на моем лице, жду дальше. Она понимает, что данных маловато:

— Ну... что нибудь... в испанском стиле?

Я, не отрывая от нее взгляда, пальцем показываю на стоящий листок:

— «Кармен»?

Теперь она замерла и уставились на меня. Я подумала, может, не поняла о чем речь? Не поворачивая головы и глядя на нее, остро сыграла первые четыре ноты.

— Да, это! — обрадовалась она, и я, подумав, что вопрос решен, стала разворачиваться к клавиатуре, но, заметив, что она не сдвинулась с места, а стоит в прежней позе, остановилась (от черт! Передумала, наверное!). Мы опять уставились друг на друга. Наконец она направила указательный палец на нотный листок и медленно спросила:

— Это то, что вы приготовили мне сыграть?

— Да.

Она медленно перевела палец на свою грудь:

— Это то, что я пела про себя, когда давала упражнение.

Час подходил к концу, класс был наэлектризован до предела, я выбралась из-за рояля, все тело горело. Хорошо, что не нужно сейчас садиться за руль, можно прийти в себя, пока идет вторая половина урока.

Села...

Тот мягкий мулат, на вид — студент, оказался ни много ни мало — художественным руководителем труппы. Сильвия, как позже выяснилось, тоже была не простой танцовщицей, а Ballet Master (педагог-репетитор в театре), причем она вела классы, когда труппа была на гастролях или перед выступлениями, ее урок отличался от работы ежедневного педагога-репетитора — она максимально подводила танцоров к спектаклю, включая в занятие элементы той хореографии, что ожидалась вечером, поэтому мне досталось такое диво дивное, а не повседневный класс. Кстати, она не села к зрителям и не встала к занимающимся, она все время находилась где-то сбоку, то делая фрагмент упражнения, то блуждая из угла в угол. «Наверное,— подумала я,— тоже выходит из состояния урока? Ведь так сразу взять и остановиться — трудно».

Ротбарт сказал несколько слов о том, чем они будут заниматься, но я не могла сконцентрироваться, потому что

еще не пришла в себя, ничего не помню. Он включил музыку Макса Рихтера и стал показывать движения. Они повторяли...

Непостижимым для меня было все — как они держат общий пульс в этом музыкальном мареве? Как запоминают эти безумные комбинации? В классике все строго и логично, здесь — в любую секунду все ломается и уходит в другую сторону, невозможно предугадать.

Чтобы понять, в чем принципиальная разница,— представьте золотую пластину и вырежьте из нее фигурку балерины. Получится игрушка, как оловянный солдатик у ребенка. Если вы будете ею играть-танцевать, ее спина никогда не согнется. Ни при каких поворотах и пируэтах, что бы ни происходило.

Если вы приглядитесь к прима-балеринам, то увидите эту идеально прямую спину, с как бы навсегда прилипшей «золотой пластиной» — позвонок к позвонку, начиная от шеи, со сформированными специальным образом мышцами. Именно благодаря деформированной спине у балетных эта царственная осанка. Но и это не всё. Чтобы получилась настоящая балерина, поместите свою золотую куколку в хрустальный куб — это ее пространство, навсегда ограниченное его гранями.

Это вырабатывается с детства — занятиями у станка, одна из функций которого строго организовать танцов-

щицу в пространстве: вот станок — это одна стена, напротив — другая, здесь, строго перпендикулярно — зрительный зал, сзади — задник. Каждый свой поворот она четко рассчитывает исходя из граней и углов этого куба — право, лево, диагональ. Отклонение на пару градусов есть ошибка и не имеет места быть. Через все тело балерины, как спица, идет эта ось координат.

Баланчин немного «сдвинул» спину, вытолкнув классический балет на новый виток, но что случилось с ней в модерне! Она стала пластичной — ни спицы, ни куба, ни золотой пластины, спина сворачивается-разворачивается, как рулон, безжизненно повисает, отвергая главный канон классического танца. А в контемпорари это еще нарочитей.

Главный вопрос-недоумение — «Как же они будут прыгать? Прошибая лбами потолок?» — решился очень логично: у них не было больших прыжков. Вообще. Балет — это вверх, а модерн — это вниз. Поэтому потолок и стены остались в первозданном состоянии. Но они взяли другим — они просто вконец вымотали и без того выжатую, как тряпка, душу, зашвыривая ее то в огонь, то в печаль, то в удушливые сомнения, не давая времени на адаптацию.

Как описать жест, который за секунду обозначит вам трагедию или счастье? Слова субъективны. Например, они делали такое движение: обе руки, сцепленные в замок,— к

груди, потом, ладонями вверх,— от себя, выпрямляя локти. Ротбарт останавливает:

— Нет, не так! В современном танце нет движения ради движения, цель не в том, чтобы воспроизвести его, согласно канонам идеального. Каждое движение несет эмоционально-смысловую нагрузку. Это же не просто так — руки к себе — от себя! Вот смотрите! — И он, делая, объяснял: — Это ЧТО-ТО выливается из меня, я не знаю, что это, я смотрю на это, я стараюсь это не разлить. Осмыслите движение, проживите его! — Он включил музыку, и они начали еще раз.

И все изменилось: вздогнули гуттаперчевее плечи, и стала незащищенной спина, глаза уже смотрели не на ладони, а на ЭТО, вытекаюшее изнутри. Мало того — движение, данное одинаковым на всех, приобрело индивидуальность:

— у одной девушки было видно, как испугало ее это внезапное ЭТО, и как она пытается его остановить, а оно горячее, кипяток, обжигает руки, но она его удерживает, она боится разлить;

— у другой ЭТО — холодное и холодная горечь в глазах;

— у третьей — просто интерес-испуг до брезгливости, она размыкает руки, и ЭТО льется на землю;

— у четвертой — горькая радость, облегчение, что ОНО наконец выходит из нее, не мучая больше...

Я видела много разных уроков, но никогда так очевидны не были трактовки, внутренний диалог со своим давним и сиюминутным, такое внезапное самообнажение. Может, томящаяся музыка вытаскивает изнутри то, чего обычно никто не видит, даже ты сам? Может, талант педагога, ведущего класс, может, сам жанр или, скорее всего, всё вместе, я не знаю. В балете танцовщица бьется с внешними злыми силами, в модерне человек пытается примириться с собой. Это не легче.

Одна мысль не покидала до конца урока — ведь как-то надо защищаться от этого эмоционального напряжения? Это как передоз, а я первый раз.

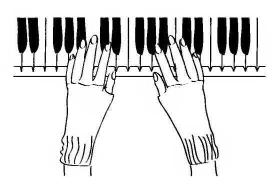
Хорошо, что я приехала не одна, можно было выплеснуться-поговорить по дороге. Отвезла приятельницу на работу и поехала домой остывать. Успокоиться было невозможно, руки горели, особенно предплечья, и в душе было что-то среднее между абсолютным счастьем и как будто долго плакала навзрыд. Я не знаю, как эти танцоры в норму входят, наверное, у них выработаны профессиональные барьеры, чтобы не свихнуться от такого накала, хотя танец — это не профессия, это стиль жизни.

Вернуться в тихий дом было непросто — дети в гостях, муж в отъезде. Больше всего хотелось, как после любого хорошего спектакля,— в яркий свет, в шумную компанию, в праздник. Поехала, купила бутылку японского вина и пошла домой. Конечно, лучше бы коньяка, но нужно

еще забирать детей и вообще как-то продержаться целый вечер.

Назавтра с утра на работу, думала — поиграю им такое!.. Ан ничего подобного: не тот педагог, не тот класс, внутри — пусто, ни повторить, ни вспомнить не могу. Да и незачем.

ЩЕЛКУНЧИКОВЫЙ СЕЗОН



Ох, не люблю я, когда аспирантки уроки ведут, никогда не знаешь, чего ждать.

Однажды после урока подходит ко мне такая «учительница» и ласково мурлычет:

— Вы можете завтра сыграть нам несколько, ну хотя бы парочку вариаций из «Щелкунчика»?

— Могу,— отвечаю насупившись,— а зачем? (Напомню, «вариация» — это как в опере «ария», только в балете; когда танцует один.)

— Мы их потанцуем.

— Как?..

— Ну под эту музыку.

— Хорошо.

— Сейчас начинается сезон щелкунчиков, и я хочу, чтобы студенты знакомились с этой музыкой.

— Хорошо.

Бесмысленность вопроса в том, что девушка наверняка не сможет показать ни одной вариации из «Щелкунчика», не говоря о «парочке любых», но я подумала, что она, наверное, просто под предложенную музыку даст относительно подходящее упражнение. На том и порешила. И забыла.

Утром начинается урок, и девица объявляет, что сегодня у нас урок необычный — концертмейстер поиграет нам несколько вариаций из «Щелкунчика», а мы их потанцуем. Ой!

Начинаю лихорадочно листать ноты, может, есть чтонибудь с собой? Ура, нашла — приготовила, думаю, наверное, перед тем как дать свое упражнение, она попросит меня сыграть, чтобы послушать-прикинуть или хотя бы спросит название? Логично? У меня на пюпитре стоит «Танец феи Драже».

Однако:

— А гранд батман у нас будет особый! Вот такие забавные движения делал Щелкунчик, и мы будем делать их сейчас тоже!

И показывает гранд батман с идиотскими движениями прямой руки параллельно с ногой и отдаванием чести. Я смотрю на нее, как удав на кролика.

— Пожалуйста, начали,— взгляд в мою сторону,— сыграйте нам марш Щелкунчика.

— Что вы имеете в виду? (Движения, что она показала, встречаются в битве с мышами, что не есть марш Щелкунчика.)

— Ну вы же подготовили нам музыку из «Щелкунчика»?

— Не марш.

— То есть... у вас его НЕТ? (Расширенные от ужаса глаза.)

— Нет.

Она растерялась: первый раз на ее памяти я в чем-то отказала. Нет, если бы это был мой первый-второй год, я бы понервничала, попыталась бы сыграть какой-нибудь марш из этого балета, но теперь увольте, на каждую глупость не набегаешься, не хочу.

— Тогда сыграйте нам что-нибудь, что хотите.

Я захотела «Яблочко».

Отбатманили.

Выстраивает их рядами и говорит:

— А еще в «Щелкунчике» есть «Китайский танец», в нем вот такие-вот забавные движения!

Показывает характерные пальчики-палочки и локти уголком, студенты повторяют. Закрепили комбинацию, я уже сижу, как бык, рогами вперед, она оборачивается и воркует:

— Нам, пожалуйста, «Китайский танец».

Вот не убили бы? Хорошо, хоть я времени не тратила и дома не готовила ей «парочку вариаций», китайское я бы точно в виду не имела — хотя бы потому, что это не вариация.

— У меня нет «Китайского».

— Ой... Ну тогда сыграйте нам что-нибудь подходящее.

«Китайский танец», начало, я еще кое-как сыграю на слух, но то, что она показала, в это все равно не впишется, я на секунду зависла...

Есть такой детский трюк: если вы поиграете любую белиберду по черным клавишам, то у вас получится а-ля китайская мелодия. Играть можно бездумно и без ритма — все равно получится. Ну и я, разозлившись, что совсем уж балаган устроили, так и заиграла — по черным, в ритме полечки, а пока играла, то сама разошлась-развеселилась: ну вот чем занимаюсь, а? Танцующие тоже порозовели, а под финальный аккорд учителка подпрыгнула и захлопала в ладоши:

— Как здорово! — и засмеялась.— А давайте еще раз?

Ну и дали еще раз, уже увереннее, потому как и я, и они уже поднаторели в китайском — невелика наука.

Так вот и познакомились мы с бессмертной музыкой П. И. Чайковского.

АРАБЕСК



Для начала, чтобы не читать текст как нечто абстрактное, а прочувствовать его как спец — мудро и изнутри,— встаньте и сделайте так, как на картинке.

Идеального сходства не требуется, достаточно схематического (заднюю ногу так высоко поднимать необязательно, как получится, но корпус, пожалуйста, держите перпендикулярно полу, нижнее колено абсолютно прямое, стоим на высоком носочке, тянемся повыше, плечи вниз, подбородок наверх, беременным женщинам можно держаться за комод).

Все это нужно для того, чтобы не хихикать свысока над тем, что я буду сейчас рассказывать, а также чтобы встающая перед глазами картинка напоминала не эту, что выше, а ту, что вы видели только что в зеркале. Итак...

По утрам я играю классы университетским студентам, не имеющим никакого отношения к танцу. Занимаются для общего развития и приобщения к миру прекрасного. Что удивительно — полно парней, они ходят на занятия в футбольных трусах, так что этот класс я про себя называю «футболистами». Педагога на этот класс не выделили, уроки ведет студентка. Я в зал смотрю аккуратно, чтобы не смеяться,— футбольная команда у станка — зрелище довольно специфическое. Но студенты стараются, «учительница» старается, нравится им, и ладно. Не знаю, есть ли у «учительниц» какие-нибудь программы или учебные планы, но, по-моему, они слабо понимают, что такое «начинающие», как и что им нужно преподавать, и лепят что ни попадя, а иногда и вовсе развлекаются ко взаимному удовольствию. Сегодня ей взбрело в голову заняться дуэтным танцем, а именно — «поддержкой» (в классе двадцатилетние лбы, заниматься начали в позапрошлом месяце, по два раза в неделю, то есть все мы теперь умеем, нам осталось только поддержки освоить).

Начать она решила с арабеска. Ногу задрала — показала. Затем парней выставила в линеечку, девицы должны подходить к парню, вставать на цыпочку в арабеск, партнер ее держит за талию, и так они стоят довольно долго — музыкальную фразу, после чего девушки опускаются на пол, делают шаг вперед и оказываются у следующего партнера, и так далее, пока не кончатся девушки.

Показала мальчикам, как надо держать девушку. Похихикали. Рассказала, что их задача — «держать баланс», потому что девушка начнет заваливаться, а вы должны почувствовать — куда, и тихонечко возвращать ее в вертикальное положение. Девушкам объяснила, что их задача — стоять монолитным монументом, не сгибаясь ни за что и никогда, потому что им будет казаться, что они падают, но мальчики же их держат, так что все нормально, и началось...

Представили мальчиков с сосредоточенными лицами? Представили на месте девочек себя в арабеске? Вот-вот.

Девочки подхихикивают, но худо-бедно стоят, качаясь, парни ноги расставляют пошире, как штангисты, разве что не делают резкий выдох перед каждым подходом (девочки-то у нас не балетные, а любые желающие). Одна полная-преполная, да еще высокая, стоит, качается как мачта на паруснике, на пятку периодически грохается, а парень сзади нее семенит туда-сюда — «баланс держит», еще немного и, чувствую, пощады запросит. Некоторые, не додержав, опускались на полную стопу, чтобы не упасть.

И вот стоит одна девица в арабеске, парень ее поддерживает за талию, и вдруг она начинает медленно заваливаться. Он сначала пугается, но все-таки, как честный человек, не бросает, пытается справиться, но потом хватает ее уже не по-балетному, а как куль (семьдесят килограм-

мов живого веса), лишь бы не грохнулась, а она-то не в курсе, каково ему, думает, сейчас выправит равновесие, и всё, и железобетонно держит спину, ногу наверх, руки врастопырку, глаза в потолок Сильфидой, а парень там весь красный, в мыле, он-то уже понял, что она на пол грохается, ему теперь лишь бы не сильно покалечить, она бы, ногу-то бы уже и поставила, хрен с ним, с арабеском,— падаем, земля близко, а парашют не раскрылся! Он срывается и вопит благим матом, она визжит, тут и падают. И вся эта «Beauty in motion» [1] на фоне моей музыки — играю нежно-божественное, всхлипывая.

После пусть удачного, но падения, учительница категорично пропищала, что хватит, больше поддержек они делать не будут, на что студенты, точнее, студентки запротестовали, что нет! Наоборот! Давайте еще, интересно же! И начался торг, который студенты выиграли, благодаря бойкой девице а-ля Вупи Голдберг, только под два метра ростом, верещавшей, что такого случая в их жизни, может, больше и не представится, «Вупи» потребовала активной поддержки притихших парней, они крякнули, закивали, но сказать, что струсили, постеснялись.

Учительница согласилась, что ладно, они тогда для забавы попробуют, хотя это бессмысленно (можно подумать, во всем, что было до,— просто бездна смысла), но,

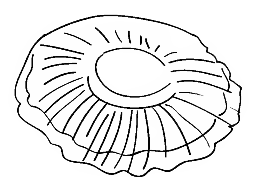
[1] Современный одноактный балет «Красота в движении».

если что случится, чтобы без претензий. Дала им нехитрое упражнение: надо нестись большими прыжками на парня, который поджидает в дальнем углу, взлететь в высокую позу, а мальчик должен поймать и удерживать эту красоту несколько секунд (по сути — тот же арабеск, только девицы налетают на партнера с разгона).

Первую балеринку мальчик не удержал, и они упали — она сверху, визгу-шуму было, думали, задавила его, но обошлось. Потом все сосредоточились и пошло резвее. Но что произвело на меня самое неизгладимое впечатление — это глаза парней, когда на них бегут, грохоча пятками, балерины. Думаю, они внутри мобилизовывались, как перед последним боем, сжимая волю в кулак и все силы кидая на то, чтобы не начать удирать. Отступать, как говорится, некуда, позади — рояль.

...а вместо того, чтобы хихикать над чужими трудностями, подите лучше и встаньте в арабеск, вот тогда и поговорим.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ КОВАРНЫХ ДЕЛЬФИНОВ



Нанимали как-то у нас педагога для малышей. Претендентки вели урок, я им играла. Прежде чем выпустить их к малявочкам, давали ознакомиться с планом урока. Например, у педагога в тетради расписано упражнение, а к нему стоит «Музыкальный пример № 5», то есть концертмейстеру за ходом мысли учителя следить не надо — сказали, какой номер играть, такой и играй.

И вот вела одна себе урок, вела, детки на ушах стоят, ничего не слушают, добралась, наконец, до импровизации. (Это когда дети импровизируют танец под музыку на тему, например «Цирк», «Пикник», «На катке», «Ящик с игрушками».) Ей попалось «В зоопарке». А преподавательница либо не поняла, либо не дочитала задание и начала сама выдумывать. Говорит:

— Выбирайте, кто будет кем?

Ну они навыбирали себе зверей разных. Дружно прикинули, кто как будет двигаться. Я же как раз ноты просматривала быстренько, там над началом каждой новой фразы написано: «Идут слоны», «Прыгают обезьяны», «Скачут зебры», «Появляются львы» и так далее, как вдруг новенькая, вдохновившись, выдает:

— А в зоопарке у нас ночь! Все спят!

И просит вступление.

Тихонько подзываю и спрашиваю:

— Вам что играть, что в нотах? Но там очень конкретно расписано, под заданный характер, например сначала идут слоны, и музыка — для слонов, а у вас все совсем не так. Или мне импровизировать самой, не следуя данным музыкальным примерам?

— Играйте что хотите. (В принципе, мой любимый ответ.)

— Под всех зверей разом?

— Да.

— То есть и зайцы, и медведи будут двигаться под одну музыку?

— Да.

— Хорошо... А ночь... это в смысле все мрачно и тихо-медленно или что?

— Нет, сначала тихо-медленно, а потом быстро-весело.

— Хорошо. (Нормальная такая себе ночь.)

Проскакали один раз. Новенькая наконец задумалась над странностью происходящего. Я подсказываю:

— Если хотите, называйте нужных вам зверей, а мы будем их импровизировать.

— Хорошо!

И началось: зверей оглашает от балды и не контрастно. Например, скажи: «Зайчики!» — и понятно, что надо попрыгать дурачками, а потом: «Кошка!» — это уже вкрадчиво, пластично, а она выкрикивает — «Зебры», а потом «Олени». В чем принципиальная разница? Как в музыке отобразить? А в танце как?

Начинаю к чему-то думать — может, у кого-то из них шаг крупнее или что? Смотрю на детей — а у них все едино.

Другое дело — «Слоны!». Одно удовольствие играть, это и дошкольник хорошо сыграет: медленно-медленно кулачками по басам — чем не слоны?

«Верблюды» тоже хорошо — важно, неспешно идут, в музычку только Востока напустить надо. Что ужасно — девушка неопытная, команды дает не заранее, а за секунду: одно кончилось, она выпаливает другое. Время на прикинуть не дает. Неправильно это. Что в образ заложено — тоже не показывает, понимай как хошь. Например, команда: «Жираф у дерева». Я ойкаю и зависаю. А что это? Что жираф делает у дерева? Ест? Или спит? И какой национальности, кстати, жираф? Чем мне его «раскрашивать»?

Играю медленное шествие, уставившись на училку. Все на нее молча смотрят, не двигаются, с жирафом, оказывается, у всех проблемы. Тогда она медленно задирает руки и как будто щиплет листья. Ага, стало быть — ест. Причем долго. Думаю, а в конце он, наверное, должен плюнуть?! Прикидываю, как это изобразить в музыке. Ой, нет, плюет — это верблюд, жираф не плюет. (Хотя почему? Смотря что съест.)

Так и шли, мило и понятно, но появляется новое задание. Цитирую дословно команду: «Выкрадывающиеся из бассейна дельфины». Время на подумать — ауфтакт. Прошу подробностей, получаю расшифровку:

— Ночь, все спят, спят и дельфины в бассейне, но потом они выкрадываются из своего бассейна и уплывают в океан. Там они весело играют и прыгают, а потом возвращаются обратно в бассейн.

Кабы она была не новенькая, я тут же затребовала бы уточнения условий: а как далеко бассейн от океана? Каким техническим приемом нам, дельфинам, красться? Долго ли? Или бассейн непосредственно в океане: прыг — и все? Этот фрагмент неясен, как мне его изображать? Как резвиться на просторе, а потом обратно — это и дураку понятно, а вот это...

Я попросила диктовать нам задания по ходу, чтобы мы знали, что делать. Не уверена, что фрагмент «Выкрадывающиеся из бассейна дельфины» был решен мной художе-

ственно верно, получилась, скорее, недовольная, настороженно ползущая змея.

Претендентку не взяли, хотя замечу под занавес, что преподавать малявочкам совсем не так просто, как это может показаться непосвященному зрителю. Они все воспринимают в натуральную величину и на полном серьезе, нужно настроиться на их волну.

...как-то идет один такой урок, танцуют всяких кукол-мишек, и преподаватель предлагает деткам принести на следующий урок разные игрушки, а они их будут «оживлять» — танцевать.

Начинается возбужденное обсуждение, кто что принесет:

— Я куклу!

— Я мишку!

— Я паровозик!

А задача учительницы — собрать определенный набор под разные движения, поэтому возникает вопрос:

— А кто может принести лошадку? Мы же танцуем пони-галоп?

— Я могу! — подпрыгивает одна малявочка.— Что лучше, пони или лошадку?

— Ну давай пони.

— Хорошо!

Мама девочки, стоявшая в дверном проеме, ойкает и меняется в лице, учительница замечает:

— Что-то не так?

— У нас лошадки живые,— смущенно кивает мама,— все равно надо?

— Нет, не надо! — смеется учительница.— Я принесу, у меня есть.

НАРЦИСС



Недавно попросили меня поиграть приглашенному педагогу, которая не работает под консервированную музыку, а только с живым пианистом. Ну хорошо, согласилась, новый педагог всегда интересно, да еще какой-то капризный — у нас уже все работают под консерву и ни жу-жу, денег-то нет. Банально захотелось посмотреть — а кто это? Прихожу на работу и опа — да я же ее знаю! Точнее, помню, такое не забудешь, она, пожалуй, единственная на моей памяти классическая стерва, коих мало, обычно американские учителя балета вежливые и почтительные, ну если залепят что-то, то не назло, а так, ну бывает, а эта... Впрочем, разошлись мы с ней тогда мирно и больше никогда не встречались, а теперь она даже вспомнила, как меня зовут, хотя когда-то долго звала меня «Простите-не-помню-вашего-имени».

Давным-давно, когда я была зеленая и испуганная, преподавали у нас по субботам «приглашенные педагоги». Это хорошая практика — эпизодически заниматься у разных учителей — разные методы, разные нагрузки, разные стили. И попалась мне тогда эта мисс Беннет, которую внутри себя я окрестила Коза.

Коза была строгая дама, а первое, чем она произвела на меня яркое впечатление,— своей обувью, которая ужаснула — как можно на себя такое напялить?! Эдакие колодки, как у Золушки, только носы круглые. Теперь у меня точно такие же, и ни на что их не променяю, но тогда бы я не поверила, что добровольно соглашусь такое надеть. И еще я не знала, что Коза — стерва, думала, что, как большинство педагогов,— милая и старательная, со своими причудами. Но наша администрация-то знала! Поэтому, чтобы умаслить маленечко Козу, они сказали, что нашли ей хорошего концертмейстера, и она будет довольна. Более медвежьей услуги они оказать мне не могли — Коза взъелась.

Сверкая очами, она вошла в класс и с ходу начала мне демонстрировать, что я ничего не понимаю: — не так; — не то; — поменяйте музыку; — неверый темп; — мне не нужны эти акценты; — мне нужны не эти акценты; — мне не нужны акценты, мы сами сообразим, где и что; — добавьте педаль; — уберите педаль; — не подходит; — не подходит; — замените; — не подходит; — если вы не понимаете, я могу вам объяснить, как играть жете: уберите педаль и иг-

райте пиццикато. «Я играю пиццикато». «Значит, недостаточно, попробуйте другое пиццикато»; — тише; — громче; — легче; — нет, это невозможно, мы сделаем это без музыки, впрочем, ладно, играйте что можете, мы будем под вас подстраиваться; — нет, это не подходит, сыграйте (поет): «Ла-ла-Лиииииииии-ла Пим-пим Пум-па». Играю.

Такое продолжалось около часа, у меня уже дрожь в руках, мажу мимо нот, мозги, вместо того чтобы мобилизоваться, парализованы. И не потому, что я ее боюсь, ни в коем разе, а просто я-то в полной уверенности, что новичок, что не понимаю, чего она хочет, что не даю детям нормально заниматься и либо в ее хореографии какие-то великие неведомые мне высоты, либо я банально не понимаю ее английский и делаю что-то не то. Если бы я знала, что она просто выпендривается, то расслабилась бы, и мы потягались бы в честной борьбе, и истерика была бы не у меня, но такое не приходило мне в голову до тех пор, пока она не остановила меня в очередной раз:

— Нет, это совершенно не подходит, сыграйте что-нибудь другое.

Команду классу не дает, то есть я просто должна сыграть, а все стоят-смотрят.

Заиграла, обрывает:

— Нет, другое.

Заиграла, обрывает:

— Не подходит, замените.

И так четыре раза. Она начинает назидательным тоном объяснять, какая музыка ей нужна, и до меня, наконец, доходит...

Ровно на пятый раз я кивнула и заиграла то, что предложила в самом начале.

— Вот это другое дело! Теперь, я вижу, вы начинаете немного понимать. Играйте это.

Ну всё...

И начинается:

дает упражнение, я спрашиваю: «Что играть? Спойте». Поет — это и играю. И так каждое упражнение. Петь всяко-разное трудно, набор у нее небольшой. Поправить меня? Так сама же и задает музычку, как править? Нервно:

— Не спрашивайте каждый раз, попробуйте сами подобрать.

— Вторая вариация корсара из первого акта подойдет?

Стоит, глазами хлопает, не знает. Нет, вы не подумайте, что я сыграю хоть одну вариацию из «Корсара», я их тогда еще в глаза не видела, но в идиотском положении не я — не я стою, как столб, и демонстрирую незнание классического репертуара.

— Не знаете? Тогда пойте, что вам нужно.

А главное, ушло напряжение, уже понимаю, что урок буксует не из-за меня, к тому же она перестала выделываться и начала нормально заниматься, хоть и с поджатыми губами.

Урок закончился, она гордо уходит, останавливаю. Выкладываю на рояль веер сборников (библиотечка тут же, около инструмента) «Royal Ballet» для всех классов и говорю:

— Следующие классы я буду играть вам по этим нотам, какие предпочитаете?

Она растерялась. Эти сборники никто не любит. Прежде всего, там дан, скажем, один пример на прыжки, а вариантов разных прыжков с разными акцентами — мильон, то есть педагогу надо подстраиваться и терпеть то, что играет пианист, а главное, на каждое упражнение дана фраза на восемь или шестнадцать тактов. А упражнение длится в среднем четыре раза по шестнадцать тактов на одну ногу, потом переворачиваемся и опять четыре раза по шестнадцать того же самого на другую, стало быть, пианист тридцать два раза играет одну и ту же фразу, импровизировать могут не все. Наконец выдает:

— Я не знаю этих нот.

Спрашиваю убегающую девочку:

— Вы какой класс?

— Четвертый.

Беру из стопки «Королевский балет. Четвертый класс» и говорю:

— Вот эти ноты рекомендованы для занятий, они подходят идеально, я буду играть строго по ним,— и выхожу из класса.

Спускаюсь вниз, уже на выходе догоняет меня Коза и приглушенно тараторит:

— Пожалуйста, не играйте по этим нотам, они ужасны, я их не выношу! Играйте как играли, что хотите, у вас замечательно получается. Извините, если у нас возникло некоторое непонимание, просто... ну это как притирка, надо привыкнуть друг к другу... Извините.

Осторожно вытаскивает из моих рук сборник:

— Я отнесу его обратно, хорошо?

— Хорошо.

Через пару месяцев звонят из школы, спрашивают, не поиграю ли по пятницам.

— Нет, я не играю по пятницам.

— Выручите, пожалуйста, мы пригласили мисс Беннет, а у нее условие, что она работает только с вами.

И вот мы опять встретились. Я ее увидела — просияла, концертмейстер-то — это вам не Татьяна Ларина, которая «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была». Концертмейстер с годами только лучше. Ну, думаю, будет нескучно, интересно, какая она теперь?

Она, оказалось, теперь ласковая и предупредительная, хотя все равно чувствуется, как непрерывно позирует на незримую рукоплещущую публику, но градус гораздо ниже, чем в былые времена. А урок интересный, насыщен-

ный, и на музыку она загорелась-завелась, и был хороший творческий процесс. Тогда, много лет назад, она как-то напела мне «правильное фраппе», я его запомнила и сделала отличную импровизацию, даже запись где-то есть. Записывающий спросил — кто автор? А откуда я знаю, я схватила завитушку мотива и сделала свое. Может, та сама сочинила, а может, слышала где-то.

— Не знаю,— говорю,— это моя импровизация на непомню-чью песню.

— А название какое? Как мне это записать?

— Я называю это «Коза».

Так что где-то есть растиражированные записи урока с музыкой к фраппе «Коза» (близкие к балету люди оценят соответствие названия, характера фраппе и самого движения). Задумала ей это заиграть — интересно, узнает или нет? Но было некстати, она дала совсем другое фраппе, что тоже хорошо,— значит, не по кальке уроки лепит. Но ничего, мне с ней целый месяц работать, я обязательно ввер-ну эту музыку, самой интересно.

Сначала ученицы набычились на незнакомую учительницу, а потом втянулись, урок прошел очень душевно. И еще одна интересная деталь:

в классе, среди одиннадцатилетних девочек, был парень, лет ему, пожалуй, шестнадцать-семнадцать. Мне кажется, я его видела пару лет назад на «балете для начинающих взрослых». Наверное, он решил заняться не раз в

неделю, а более обстоятельно, и его поставили в класс по уровню, к этим девочкам.

Что поразило — он был абсолютно серьезен. Нет, это второе, а первое — он был хорош собой, с красивым юношеским торсом без изъянов, в противовес нашим субтильным мальчикам-тростиночкам, одинаковым в плечах и в бедрах. Он был абсолютно серьезен, но не как ботаник, и без отталкивающего фанатизма, придающего человеку налет неадекватности, а именно спокоен и сосредоточен, занимался тем, что старательно выполнял все, что требовал учитель, не смущаясь того, что он здесь мальчик-переросток, не стесняясь своей неумелости, не прикрываясь фиговыми листочками иронии. Он стоял «в полный рост и натуральную величину».

Он не был хорош как танцовщик, да он и не танцовщик, а так, начинающий, но природная мягкость движений, прилежность и доверчивая открытость производили достойное впечатление, а несовершенство выполнения придавало особый излом, как ломающийся голос, как неловкие резкие движения подростка, превращающегося в молодого мужчину.

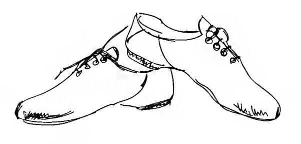
Танец — это самый обнажающий вид искусства, в том смысле, что спрятать «внутреннее „я“» очень трудно. Артист прикрыт лукавым текстом, художник — сюжетом, а танцующий — вот он, как на ладони, язык тела выдает его полностью. Уже потом, когда появляются техника и актер-

ское мастерство, танцор сможет сыграть Наивность или Порочность, Глупость или Коварство, а в начале пути — нет. Да и в зрелом творческом возрасте всегда существует амплуа. И меня поразило, как спокойно, с чувством собственного достоинства этот парень занимался среди малолеток, как твердо шел своим намеченным путем.

Не знаю, какие виды на него у нашей арт-директора, но я на ее месте поставила бы на него какого-нибудь Нарцисса... Нарцисс бы получился изумительный, врезающийся в память, и, прежде всего, потому, что нарциссизма в парне нет вообще. Да и сам «нарциссизм» был выдуман гораздо позже, изначально Нарцисс не был влюблен в себя, он влюбился в отражение, думая, что это кто-то другой с той стороны озера смотрит на него, и, пораженный красотой незнакомого юноши, шел ему навстречу.

Так и этот парень — старательно и доверчиво делал бы поставленное для него хореографом, радостно познавая и открывая возможности своего тела, и нового амплуа, и новой неведомой грани жизни, не кокетничая со зрителем, не замечая его вообще. И не нужна была бы статистка, чтобы изображать вздыхающую в горах невидимую нимфу Эхо, потому что внутри каждого зрителя и так вздохнет украдкой невидимая нимфа Эхо.

СЕЛЬСКИЕ ТАНЦЫ



Танцевальных кружков, студий, школ и, извиняюсь за выражение, академий у нас в округе видимо-невидимо — дети за школьные годы обязательно где-нибудь попробуют потанцевать, и среди взрослых танцы — нередкое хобби: сальса, бальные, балет, фламенко, танго, танец живота, народные — варианты бесконечны. Никогда бы не подумала, что буду с удовольствием ходить вечерами на танцы, даже мысль такая в голову бы не пришла, но однажды приятель затащил, изумившись, что я никогда не танцевала. Он, пенсионер, уже много лет танцует контрданс, не пропускает ни одной недели, повез нас с подружкой. Мы по дороге с ней хихикали, мол, дожили — на сельские танцульки едем «на старости лет». Думали, глянем одним глазком, и всё. Но случилось непредвиденное: влюбились

с первого взгляда, и с тех пор мы с дочерьми ездим плясать с большим удовольствием, как на праздник.

Самое удивительное — это атмосфера. Большой актовый зал, народу — битком, возраст от самых юных до глубоко седых, на сцене несколько музыкантов. Первая скрипка — фигура колоритная: худющий мужчина в черной майке и шортах. По большим праздникам надевает бабочку на голую шею, но, чтобы она не мешала играть, откидывает ее назад, на спину. Когда он заводится, то в безостановочном танце ходит ходуном, и перемешивается все — локти, плечи, острые колени. Если не хочешь танцевать — просто сиди и гляди на него, настроение «жизнь удалась» — гарантировано.

Кавалеры приглашают дам, выстраиваются ряды — и полетели! Если вы представляете кадриль, то контрданс — ее кровный родственник: тот же характер, тот же принцип смены партнеров, тоже «фигуры», «линии», у отдельных народов только разнятся детали — шаги, вертушки, музыка. Мужчин на здешних вечеринках всегда больше, что загадка для меня. Когда танцевать особенно охота, некоторые повязывают платок на голову (а там борода, усы) и встают в женскую линию. Приглашают на танец заранее, иногда во время танца, у некоторых дам на поясе болтается маленькая «бальная книжечка», куда записывается, кому обещан какой танец, чтобы не перепутать (хотя думаю, что больше «для фасону»).

Темп у танца быстрый, фигуры меняются постоянно, и поначалу только одна мысль — продержаться, а потом — полный восторг, к тому же ошибиться не страшно — тебе помогут-выведут-вынесут, дочерей, когда те не успевали на вертушках, подхватывали на руки и кружили. Втянулись мы моментально, и длинные юбки в сельский цветочек купили. Когда объявляют, что будет шотландский вечер и шотландская музыка, мужчины надевают килты, а у кого есть — полные шотландские костюмы со всеми деталями — красота! Но обычно танцуют английский и ирландский контрданс, они традиционны для этих мест. Восхищают пенсионеры — лихо отплясывают до полуночи наравне со студентами, точнее, наоборот — это студентам далеко до мастерства ветеранов, которые танцуют по тридцать—сорок лет.

Однажды был необычный вечер: всех желающих приглашали принести свои музыкальные инструменты, чтобы играть на сцене вместе с музыкантами: «Подготовка — любая, репертуар — обычный». Любая подготовка у меня как раз и есть, а с репертуаром загвоздка — никакого не знаю, но мой партнер Леонард уговорил взять с собой скрипку: «Не захочешь играть, так не будешь! А вдруг захочешь?»

Действительно, почему бы не взять? Дети тут же подскочили и завопили: «Мы тоже возьмем!» — но я возразила, что давайте сначала я на себе попробую, что это такое, а потом уже подготовимся и оторвемся в оркестре все вместе.

Сцена была заставлена стульями, людей много, мне сразу стало неловко — вообще не представляю ни что играть, ни как играть. Для них-то это «свое», играют на автомате, а мне как? Но Леонард азартно подбадривал: «Попробуй!» — и я решилась. Подвел меня к первой скрипке, тот добродушно пригласил. Я пропищала, что не знаю репертуара, он выдал мне листочек, на котором списком напечатаны названия неизвестных мне песен. Я ответила, что не поможет, все равно ни одной не знаю. Он почесал в затылке и предположил, что, возможно, кто-нибудь принесет ноты — если я знаю ноты. Ноты знаю. Леонард тут же ввернул, что я хорошо ноты знаю и могу играть еще на пианино. Скрипач лениво поднял бровь:

— Ладно, если хотите — играйте на пианино.

— А у вас что, нет пианистки?

— Есть, вон она, на синтезаторе, а вон (показывает по углам сцены) еще две пианинки, пока свободные, выбирайте любую.

— Нет-нет, спасибо, я лучше на скрипке, это не так громко, я боюсь по первости.

— Да что вы, деточка, не бойтесь, вас все равно не будет слышно.

И это правда, желающих музицировать набежала тьматьмущая. Пожалуй, треть присутствующих рванули в оркестр, но и организовано было грамотно: у ведущих музы-

кантов на инструментах были прицеплены маленькие микрофоны, так что они уверенно возвышались над радостной толпой любителей.

Пристроилась я скромненько сзади в уголочек и затаилась. Начались танцы. Я сначала прислушалась-присмотрелась и потихоньку приноровилась: первый куплет сижу слушаю-запоминаю, на втором присоединяюсь, сначала осторожно, а потом вполне себе уверенно.

Народу на сцене прибывало, уже уплотнились так, что яблоку негде упасть, стояли-сидели битком — всем поиграть охота. Когда я немного освоилась, стала разглядывать оркестр — батюшки-светы, на чем только не играют! Я таких инструментов сроду не видала — какие-то навороченные народные, дудки разных мастей, волынки, ударные. Многие приносили по несколько инструментов. Духовики ладно — они на разных могут, но в углу стояла контрабасистка, играла-играла, вдруг смотрю — у нее уже скрипка в руках! Рядом со мной сидел дед с аккордеоном, потом как стал «балалайки» менять, я со счету сбилась. Скрипачей было больше всех, на глаз самоучки либо школьного уровня (а «на слух» не знаю — не слышно), но играли азартно.

Оркестранты часто менялись — поиграют-поиграют, сбегают попляшут — и назад. В середине вечера на сцену протиснулся лысый саксофонист, пристроился рядом, тоже мелодии не знал, мы с ним парой импровизировали, интересно. Он минут десять поиграл и ускакал обратно плясать.

Есть в контрдансе такая обязательная «должность» — Caller (по-русски «заводила»). Он объявляет фигуры перед каждым танцем. Народ запоминает. Нередко этот человек первая скрипка, он еще и оркестр ведет. На роль заводилы в тот вечер тоже звали желающих. Когда кто-то захотел, скрипач уступил ему свое место и пошел в середину оркестра, втиснулся, где местечко было, стоит на одной ноге, играет. А за время танца обычно исполняются несколько разных песен, одна переходит в другую. И вот играем мы что-то, первый скрипач поворачивается к одной половине сцены и, чтобы приготовились, кричит им название следующей песни: «Веселый рыбак!» Ему бодро покивали, он оборачивается к нашей половине: «Веселый рыбак!» Ему тоже ответили, но он наметанным глазом увидел, точнее, не увидел моего отклика и, не переставая играть, глядя на меня, кланяется и кричит еще раз: «Веселый рыбак!» Я ему в ответ плечами жму и улыбаюсь, мол, да мне ж все равно! Тогда он, не меняя выражения лица, так же громко, но лично мне: «Уходим в ля мажор!» — и я с хохотом киваю ему в ответ — музыкант музыканта всегда поймет — уходим так уходим, там разберемся.

За оркестрантами было очень занятно наблюдать: каблуками ритм отбивают, плечами дергают, на телефонные звонки во время танца отвечают, едят регулярно. Гвалт на сцене такой, что никакого стеснения не осталось, наяриваешь себе в свое удовольствие, временами погромче-по-

громче! В одну паузу затеялись скрипачи настраиваться, шумят, колки крутят, у всех все разное, вдруг один худой скрипач в очочках, перекрывая шум:

— Вот, вот, у меня чистое «ля», послушайте!

Народ тут же встрепенулся в его сторону на разные лады:

— Ты чего? Выпендриваешься, да? Зачем нам твое «ля»?

— Но у меня чистое!

— Так, да? Посмотрите на него! Чистое у него! А мы вот нарочно не подстроимся, сиди со своим «ля»!

И ржут, довольные.

Потом я сбежала и успела потанцевать два танца. Среди танцующих глаз выхватил немолодую женщину в инвалидной коляске. Она успевала-поворачивалась, держала и линию, и рисунок танца, не выбиваясь. Леонард сказал, что в восторге от того, как она ловко это делает, и ужасно хотел ее пригласить.

— А почему не пригласили?

— Ха! Да у нее отбоя от партнеров нет, все танцы наперед расписаны, я поздно подошел.

Во как! А я как раз подумала, с кем же она танцует — с родственником, который ее привез или с ухаживающим санитаром? Американцы совсем другие, другой ход мысли: у меня первая реакция — пожалела, а они в восторге и стараются поддержать.

Однажды меня пригласили на танец. Встали с новым партнером в линию, он протягивает мне ладонь, а там написано «Том», и показывает на себя, мол, это я. Киваю в ответ, говорю свое имя. Он показывает жестами, мол, я глухонемой. Опять киваю — поняла, мол, и в ту же минуту подскакиваю, выпучив глаза:

— А как же вы танцуете?! А музыка?!

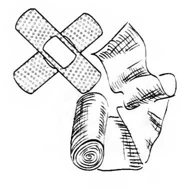
Он показывает на свой глаз, потом на людей, мол, смотрю на них, все нормально, и улыбается. Танцевал абсолютно в музыку, если бы меня не предупредил, я бы никогда не догадалась, что что-то не так. А я-то приготовилась ему помогать-подсказывать, специально помедленнее вертеться, а он замечательно себя чувствовал и получал большое удовольствие от танца, еще и мне помогал, когда я путалась.

Обожаю эти сельские танцы, как прыжок в другое измерение,— заводная музыка и счастливые лица; груз будней испаряется очень быстро, вообще вся жизнь уходит далеко-далеко, как будто книгу закрыла, отложила в сторону — и тут же забыла сюжет, и есть на свете только одно — этот танец, полет, счастье. А на следующий день — роскошное настроение, рот беспричинно до ушей и крепатура [1].

---

[1] *Крепатура* — боль в мышцах после непривычно большой для организма мышечной активности.

БАБУШКА БАЛАНЧИНА



Если где в мире хотят поставить что-то из Баланчина, то просто так, сами по себе, они это делать не моги: надо платить. Во-первых, фонду Баланчина, а во-вторых, выписанному по этому случаю наиважнейшему консультанту — чтоб поставил, а потом проверил. К тратам на эти роскошества добавим еще расходы на концертмейстера, но лично меня это как раз огорчает меньше всего.

И вот надумали у нас в колледже ставить фрагмент «Concerto Grosso» Баланчина, выписали мадам из Нью-Йорка. Приехала. А с деньгами расставаться никто ж не любит, поэтому колледж сделал вид, что не знал, что в балете танцуют под музыку. Особенно по выходным (двойной тариф). Поэтому концертмейстеров не беспокоили. Но приехавшая дама оказалась строптивой и повелела,

чтобы на следующий урок концертмейстер был, потому что она вам не сельская самодеятельность.

Пришлось колледжу вызывать концертмейстера.

Я вообще-то не большой любитель играть классы с утра по воскресеньям, но поехала — из любопытства, посмотреть, что это за чудо-зверь такой «Фонд Баланчина», к тому же не хотелось давать колледжу повод думать, что есть еще другие концертмейстеры. Зачем сбивать хорошие рефлексы?

Самым интересным в этом уроке, пожалуй, была сама Она. Маленькая, элегантная, вся в белом — белоснежные широкие брюки, белоснежная футболка, белоснежные ботинки, белоснежные пряди в волосах. Перед уроком разлеглась на полу, раскидав ноги в шпагат, поставив локти на пол перед собой — болтала с нашей педагогиней, лежащей напротив в такой же позе. Лет даме, пожалуй что, сто или около того, о таких в моем детстве говорили: «Она видела Ленина!» (Ну, как минимум, Баланчина.) Царственная посадка головы, медленная речь, низкий голос, думаю, она с успехом могла бы выступать как драматическая актриса, у нее было бы потрясающее амплуа — какая-нибудь там Вдовствующая Королева или, на крайний случай, чья-нибудь свекровь.

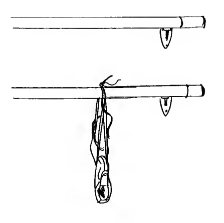
Демонстрировала все комбинации сама, в нужном темпе, много внимания уделяла финальным позам. Вступление давала быстро и своеобразно: «Раз!» — и сразу удив-

ленный взгляд на меня: оказывается, на ее «раз» должен попасть мой «раз». Однако.

На средних и больших прыжках не давала мне ссаживать темп, хотя студентки очевидно не успевали, но никаких поблажек никому, так все сами по себе и болтались. Оба дня давала абсолютно одинаковый станок. Очень вежливая и почтительная ко всем. Перед выступлением приедет еще раз. Нагнали ей лучших старшекурсниц со всей округи.

Непосредственно сам урок был сух и ровен, все быстро и коротко, чаще — очень коротко, почти все на две четверти. Легко, ровно, быстро. Ни минуты не стояла — все время подходила к кому-нибудь, поправляла, тихо объясняла. Обычно каждый педагог несет в себе какой-то характер, которым окрашен урок, я игрой пытаюсь озвучить именно этот характер. В этот раз — ничего такого не случилось. Все у меня вышло как длинное вступление-приготовление. И класс не взлетел — не хотелось. Так... ну попрыгали. Адажио тоже не было... ну постояли... Ощущение — как будто принесли-показали старинную диковинную шкатулку, а не открыли. После урока они занимались непосредственно постановкой, я ушла, может, все случилось именно там?

ЗАКАТ МОЕЙ КАРЬЕРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ БАЛЕРИНЫ (ОН ЖЕ ВОСХОД)



Мой путь в Большой Балет начинался не совсем обычно, не с детства, когда маленькие девочки усердно выводят ножками батманы и танцуют снежинок и утяток, а в довольно зрелом возрасте, когда я вовсю работала концертмейстером в балетной школе. И начинала я не с абы чего, а с «Лебединого озера». А чего долго раскачиваться-то? Чай не семнадцать лет...

В те времена была у меня подружка, злые языки за глаза называли ее Люся Паровоз и нос воротили, а у меня была миссия — всех соотечественников объединять, поэтому, чтобы личным примером показать, что при желании общаться можно с кем угодно, и в каждом, если подойти

поближе, можно найти что-то хорошее, я «подошла», и потихоньку мы и впрямь подружились.

В студенческие годы Люся ходила на балет для непрофессионалов и очень любила посудачить о балете, что тоже немало нас объединяло, и вот как-то она поведала, что мечта ее жизни, можно сказать идея фикс,— быть преподавателем балета... А я вела детские занятия, на которых мы занимались музыкой и танцами, но девочкам всегда хотелось больше танцевать, чем мальчикам, поэтому идея организовать еще один класс, танцевальный, витала в воздухе. Конечно, балет — это последний жанр, который был нам нужен, но, что поделаешь, ладно, балетом не затанцуем, но осанку, ручки-ножки поправим и всяко будем смотреться получше в общем танце. Я убивала нескольких зайцев — реализовывала Люсе мечту и не ставила себя во главу еще одного занятия, к тому же я получала для танцевальных занятий хорошего концертмейстера и как бы профессионального педагога.

Я предложила Люсе класс, она обрадовалась. Единственное, что ее смущало,— это отсутствие преподавательского опыта, но я пообещала вместе разрабатывать каждый урок и быть на подхвате. С дисциплиной проблем тоже не предполагалось — дети занимались у меня уже несколько лет, так что вынос тела преподавателя разгулявшимися учениками не ожидался, тем более я всегда рядом — за роялем.

На первом же уроке у меня был шок. Не знала куда себя девать от стыда и ждала, что по окончании занятия родительницы гневно заберут девочек, и начнется новая волна злых сплетен. Мысленно отбивалась от наездов на Люсю, готовя ворох ее положительных качеств. Но все обошлось, мамочек все устроило, никто не ушел. Случилось же следующее.

Люся была безухая и несгибаемая, она не чувствовала аудиторию и не могла перестраиваться на ходу. Если она останавливалась или отвлекалась на девочек, то продолжить мысль или показ была не в состоянии, поэтому приладилась говорить длинными речами. Никакие увещевания, что для этого возраста объяснение должно быть короче, не помогали, ей было трудно. Но главная беда заключалась в том, и это резало глаз,— она не слышала музыки. Вообще. Когда звучало вступление, она начинала упражнение с произвольного места, отсчитав «свое четыре». Это могло быть посередине фразы, когда дети уже начали. Те, что помузыкальнее, продолжали делать, а детки помладше — переделывались под нее. Если перестраивались все, то я ловила, и мы типа совпадали, но, если Люсе надо было что-то быстро сказать, она останавливалась, а потом продолжала упражнение с оставленного места (при звучащей музыке), дети возвращались под нее, я тоже, и все это двигалось буксующей машиной. И так через раз. Объяснения не помогали, она не понимала, где начало, где

конец, чем «два» отличается от «три», если не считать вслух. Я умоляла ее не делать движение вместе со всеми, но она забывала и делала опять, сбивая девочек и доводя меня до белого каления. В музыке она отличала две градации — звучит музыка или не звучит. Более мелкие детали для нее не существовали.

— Слушай, а как же ты танцевала на сцене?! — изумлялась я.

— А у нас слышащих девушек ставили впереди, а остальные смотрели и делали движения за ними.

Но это мы забежали вперед, а тогда, на заре своей преподавательской карьеры, Люся записалась в нашу контору на «Балет для взрослых», или, как это обычно называют, «Балет для бабушек». Я отродясь не играла эти классы — тоска зеленая, но тут согласилась, за компанию.

И вот одним сентябрьским вечером заходит на урок молодая училка и бодро объявляет, что в мае в городе ожидается премьера «Лебединого озера», совместный проект: солисты из Национального Балета Майами, а массовка наша. Бабушки набычились и сбились в кучку, я бросила книжку и уставилась на них — а что, хорошее начало, видать, лебедей не хватает, бабушек хотят выставить? В пачках?! Жить не скучно!

Но нет, дело не в лебедях, с ними порядок. Оказывается, не хватает людей в «эскорт королевы»: две есть, нужно еще двоих, прыгать не надо, просто сопровождать короле-

ву, пара движений-поклонов, костюмы — тяжелые бархатные платья до пола. Бабушки скучились еще плотней и решительно отказывались самовыдвигаться. Училка начала уговаривать. Я из-за инструмента стала делать большие глаза Люсе и махать руками, мол, соглашайся! Она ни в какую, я и так и сяк, все без толку. Училка обещает интересную творческую жизнь и золотые горы, и, наконец, моя душа не выдерживает, поднимаю руку:

— А танцующих концертмейстеров берете?

Повисает пауза, но гостья оживляется:

— А почему бы нет? Наверное, да! Ведь там не нужно танцевать, только ходить под музыку, а уж в музыку-то вы пройдете! Конечно, давайте, я вас запишу. Дамы, пожалуйста, ну посмотрите — это не страшно, кто еще хочет, ну еще один человек!

Дамы засомневались и начали шушукаться, подлетаю к Люсе:

— Давай! Пойдем, чего ты испугалась? Так придется выкладывать кучу денег и сидеть у черта на рогах, а тут — задаром на сцене, все вблизи рассмотрим и кости солистам перемелем. Это же «сцена бала»: вышли, круг сделали, подмигнули принцу, на кресла сели, ручки-ножки сложили, губки бантиком — и сиди-отдыхай, типа гость! Мы еще им полные сборы сделаем — это ж всё русское комьюнити заявится на нас глазеть! А самое главное — представляешь, какие фотографии муж сделает? Это ж обал-

деть! Пошлем в Россию, скажем небрежно — в «Лебедином» танцевали, ну?!

Это ее сломало.

Нам объяснили: как вернется директриса из отъезда — подойти к ней доложиться. Эта миссия была возложена на меня.

И начался самый сладкий момент в этой истории — оповещение друзей: мол, мы в мае в «Лебедином» танцуем, приходите, Балет Майами приезжает, да, ну и мы с Люсей. Тут главное было — держать свое лицо, потому что у людей оно сразу расплывалось во все стороны.

Простым смертным рассказывать было неинтересно: они или верили сразу, выражая желание прийти, или начинали ржать и требовали саморазоблачения. Тут приходилось вступать в спор, обижаться неверию в наши силы и демонстрировать талии, которые всяко были не хуже балеринских.

Интересна была реакция музыкантов.

После детского занятия, когда народ потянулся к выходу, я пригласила всех на майскую премьеру, добавив между прочим, что мы с Люсей участвуем в спектакле. Кучка родителей разделилась: технари оживились, кто-то хохотнул: «Да ладно!» — но четыре родителя-музыканта замерли и уставились на меня.

Я, «не замечая» их реакции, вступила в перепалку с каламбурящей группой на тему «правда-неправда», так мы и

шумели довольно долго, пока папа-скрипач осторожно не потянул меня за локоть:

— Что ты имела в виду?

— В каком смысле?

— Когда сказала, что будешь там танцевать... Кого?

На лицах музыкантов отражалась напряженная работа мысли. Они как раз очень хорошо понимали, что ТАК шутить я не могу. К тому же я работаю не где-нибудь, а в балете, поэтому, кто его знает, может, научилась уже танцевать за давностию лет, в конце концов, прыгать — это вам не на скрипке играть. Их мысль уперлась в глухую стену, единственное, что они приняли моментально, это то, что это — не шутка.

О! Спасибо-спасибо, особенно за «кого», спасибо за доверие! Ужасно хочется ответить: «Одетту, ага, а Люська — Одиллию! Нет, лучше я — Одиллию, а она пусть Одетту»,— но, на секунду представив Люську Одеттой, я поняла, что так уж измываться над вечным искусством мне, человеку, связанному с этим искусством кровным родством, не к лицу, поэтому, вздохнув, согласилась поменяться обратно, ладно — Люська Одиллию, а я Одетту — искусство требует жертв.

— Нет, мы будем изображать эскорт королевы на балу. Это безымянные роли.

Музыканты восстановили дыхание, но общая настороженность так и не покинула их.

— Ну тогда, что делать, придется идти,— подвел итог скрипач.

Московским подружкам сообщать о сенсации оказалось совсем неинтересно — они верили сразу и, что обидно, не удивлялись ни грамма. Приходилось самой же и объяснять, что все это ерунда, пару шагов по сцене, и чего вы так безоговорочно верите?

— Да кто вас там знает, в вашей Америке... Может, и выучилась уже, поди пойми.

Тогда я окончательно бросила сообщать эту бесполезную новость простым смертным и принялась за музыкантов. Звоню матушке и на вопрос «Что новенького?» будничным голосом сообщаю:

— Да вот, в мае в «Лебедином» танцую.

— На «Лебединое» идешь?

— Танцую. Тан-цу-ю! Чего на него ходить-то?..

— Танцуешь?

— Да, танцую. Премьера в мае.

— Кого? — спросила она глухим басом и вдруг резко гоготнула: — Одетту спиной?

(Пояснение для непосвященных: в «Лебедином озере» две героини — белая лебедь Одетта и черная Одиллия, исполняется одной балериной (в антракте переодевается). По сюжету, они похожи как две капли воды, и Одиллию

Злой Гений подсовывает принцу, чтобы он, увлекшись, нарушил клятву, данную Одетте. Когда принц просит руки Одиллии, в самом дальнем окне «появляется Одетта», но, поскольку прима уже на сцене, то эту пару секунд белого лебедя изображает любая танцовщица кордебалета, стоя к залу спиной. Поэтому «Одетта спиной» — это, в принципе, издевка, потому что в сопровождении королевы мы все-таки должны были двигаться в полный рост, долго и лицом к залу.)

Звоню подруге, берет тихий муж, ее не зовет, говорит, что лучше позвонить в другой раз.

— Что случилось?

— У нее послеродовая депрессия, она ни на что не реагирует.

— Да ладно, ты что?! Как такое может быть, это же не первый ребенок?

— Может. Болевой шок. Такие дела у нас...

Подругу все-таки выцыганила, пообещав не утомлять. Действительно, она говорила ровным голосом, как сомнамбула, на вопросы как да что, как дите, отвечала монотонно «очень больно, очень больно», диалог не клеился, я старалась бодриться.Чтобы развеселить, стала рассказывать про «Лебединое». Она слушала рассеянно, в разговоре не участвуя, никак не реагируя, но вдруг цепко уточнила:

— Кого танцуешь?

— Какая ты! Сразу «кого»! Нет чтобы в принципе удивиться-усомниться?

— Я? Усомниться?! В чем?

— Что я в балете танцую.

— Верю сразу и во веки веков, от тебя что хошь можно ожидать.

— Ты так говоришь, будто это что-то неприличное!

— Ну в общем-то да... в балете... Точнее... я просто пытаюсь представить...

— Чего там представлять,— разобиделась я,— в балете же не только прыгают, там еще ходят эдак... в образе.

Но она уже начала шмыгать носом и, подхихикивая, заваливаться в смех:

— Ой, не могу-у, Матроскин в пачке, Матроскин в пачке! — откуда-то откопала мое забытое студенческое прозвище.

— Сама ты в пачке! — огрызнулась я.— Какая пачка? В длинном платье, говорю же!

— Ой, не могу-у, Матроскин в пачке! Звезда американского балета!

Подскочил ее муж, мы уже вместе смеялись, потом я добавила матушкино «Одетта спиной», и новая волна смеха опять накрыла нас. Одним словом, это был как раз тот случай, когда говорят, что искусство может поднимать на ноги и залечивать раны, так что моя балетная звезда, скакнув нелепым арабеском на небосклоне, просияла все-таки не зря.

Но вернемся опять в серые будни, ибо самая яркая часть моей балетной карьеры осталась позади.

В назначенное время я подошла к директрисе, и выяснилось, что молодая училка, оказывается, все перепутала — не должна была она всему классу объявлять о спектакле, а приглашение предназначалось двум вполне конкретным приличным «бабушкам». Я расстроилась, ну да ладно, нет так нет. Директриса сделала круглые глаза:

— А ты что, хотела участвовать в спектакле?!

— Ну в общем-то да, настроилась.

— А ты когда-нибудь балетом занималась?

— Нет. Но я думала, там только пройтись туда-сюда в длинном платье, и всё. Ну вытянула бы носок и выпрямила спину.

— Там не только ходить, там надо немного потанцевать... а ну-ка сделай так.— И она показала движение.

Я сделала.

— А так?

Я повторила.

— Слушай, потрясающе, я не верю, что ты никогда не занималась.

— Правда, никогда.

— А откуда руки?

— Не знаю... Может, я же несколько лет каждый день смотрю, как вы занимаетесь, вот оно и научилось?

— Ну да! Я-то побольше твоего занимаюсь и каждый день концертмейстеров слушаю, а играть не научилась.

— Тогда не знаю... У меня мама вообще-то хореографию преподавала, может, наследственное?

— Может... Знаешь, если хочешь — приходи на репетиции. Я тебя поставлю, мы поработаем, у тебя получится. Давай попробуем?

— Давайте, спасибо, ура! Но нас двое.

— О нет, только не Люсю. Это непроходимый вариант, ее нельзя на сцену.

— Я возьму ее на себя, мы будем каждый день заниматься, она живет рядом.

— Не получится. А про музыку вообще молчу.

— Дайте нам испытательный срок!

— Нет. Я уже когда-то имела дело с подобным, я ученая, извини, но это невозможно.

— Тогда я, наверное, не могу...

— Как хочешь. Подумай и приходи на репетицию, мое предложение остается в силе.

Думала я недолго, выхода не было: уже всем растрезвонили, что нас взяли обеих. Пойти одной, сказав, что взяли по блату как персонал,— Люся разобидится и начнет точить на меня зуб (хех, она и так наточила), а о том, чтобы сказать, что ее насмерть не захотели, не могло быть и речи,— это же курам на смех: «учителя балета» забраковали, а

концертмейстера взяли, еще не хватало, чтобы начали злословить. Всем объяснила, что объявление дали ошибочно, «Лебединое», увы, состоится без нас, и о спектакле все забыли, включая меня (еще бы! Много воды с сентября утекло, много всего разного произошло, включая разрыв с Люсей Паровоз, которая исчезла из моей жизни, надеюсь, навсегда). Но к концу мая мне неожиданно, как и всему персоналу, прислали билеты на премьеру, и мы с дочками пошли.

Какое же это ни с чем не сравнимое чувство — видеть своих на сцене! Крупнейший зал города, роскошные костюмы, яркие декорации, гениальная музыка, свет софитов, настоящие солисты, а вся массовка — свои-родные! Узнавать их походку, движения, жесты, по спине определять напряжение или, наоборот — удачные моменты, хихиканье в паузах и торжественное счастье. Кто знает, как танцует самодеятельность, тот меня поймет! По силе отдачи и страстной искренности не сравнить с профессионалами. Радость, волнение и восторг, восторг! Мы с дочерьми отбили все ладоши. И вдруг пошла королева...

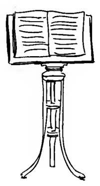
А за ней эскорт — четыре немолодых учительницы, и я вспомнила...

И так захотелось туда, к своим, в свет, в это бархатное платье, в этот праздник, где все наши, учителя и ученики!

И тут меня накрыло...

Но это уже не про балет.

БАЛЕТОМАН



Ходили с приятельницей на премьеру, танцевала соседняя балетная школа. Сидели не рядом, поэтому в антракте встретились, поболтали о том о сем, она спрашивает, мол, а твой муж почему не пришел посмотреть или не любит?

— Не любит всей душой,— отвечаю,— согласен на что угодно, лишь бы его не заставляли ходить на балет. Нет, если дочери танцуют, то он обязательно придет, но если нет, то ни за что, я ему потом на кухне рассказываю-показываю.

Посудачили мы о постановке, о музыке, о своих делах-заботах, да и разошлись каждый по своим местам.

Антракт затягивался, на сцену вышла дама, попросила подождать, мол, меняют костюмы, просим прощения, еще

немного терпения, а рядом со мной сидел дед... Милый такой, аккуратненький, весь седой, в смешных сандалиях. Все первое отделение неутомимо хлопал и громко поддерживал артистов. И в затянувшуюся паузу поворачивается ко мне и затевает беседу, мол, а у вас сегодня дите танцует, да?

— Нет, не танцует никто.

— А... Вы, наверное, тут работаете или чей-то гость?

— Да,— улыбаюсь в ответ,— гость.

Он оживляется, мол, а на кого пришли посмотреть? Кого она танцует?

— Она не танцует, она хореограф.

И у нас затевается неторопливая беседа о спектакле, о юных балеринках, он рассказывает, как девочки выросли с тех пор, когда он видел их в прошлом году, и какие успехи, и какая замечательная постановка, и какие костюмы, а как то, как это... Я слушаю в полумраке и киваю, ему, видимо, очень хочется поговорить на эту тему, мы сидим и коротаем вместе вечер.

— А вы на кого пришли посмотреть? — вдруг спрашиваю я, а то невежливо получилось, он поинтересовался, а я нет.— У вас внучка на сцене?

— О нет, никого нет, я сам по себе пришел. Я хожу на все спектакли местных школ, ни одного не пропускаю. Знаете, это очень интересно наблюдать, как дети растут, как совершенствуется их мастерство, приятно узнавать их,

радоваться удачам. А постановки?! Как учителя из таких неловких детей лепят спектакли, как движется их мысль, какие новые находки, это же такой живой организм! И сравнивать школы тоже интересно — они разные, и растут каждая по-своему, но и очевидно общее движение. У меня, видите ли, жена преподавала в балетной студии, тоже ученики, уроки, репетиции. Она водила меня на все свои спектакли и очень любила поговорить, ну там, как получилось, как детали, истории всякие, каждый спектакль — это же, знаете, целое событие, он не заканчивается после того, как опускается занавес, потом она обычно долго мне рассказывала, как и что, а я слушал... Она умерла несколько лет назад, я с тех пор хожу на все отчетные концерты.

Я подумала — сейчас погаснут огни на сцене, он пойдет к себе домой и не ляжет спать (как можно лечь спать сразу после спектакля?), а будет мысленно или даже вслух разговаривать со своей женой — о премьере, о девочках, как они выросли... все как всегда.

Только теперь его очередь рассказывать...

ШКОЛЬНЫЙ ХОР



Пошла как-то на концерт школьного хора, в котором поют мои дочери. Обычная общеобразовательная государственная школа, никакого музыкального уклона, дети ходят по желанию.

Выходит на сцену хор, человек сто тридцать, и среди них четыре мальчика-инвалида — аутизм, ДЦП, синдром Дауна. Каждого неотступно сопровождает школьный специалист-дефектолог. Эти пары аккуратно встали по краям, чтобы взрослый не мешал.

Раньше такие дети не встречались мне в общих хорах, поэтому я невольно присматривала за ними весь концерт. Они нормально отстояли получасовое выступление, не могу сказать, что пели, но активно участвовали. Во многие песни были включены шумовые эффекты — дети хлопали, топали,

махали руками, и эта четверка тоже хлопала и топала, оживляясь на кульминациях. Я даже могу поручиться, что они слышали и слушали — раскачивались, кивали, и не сами по себе, а сообразно музыке. У мальчика с ДЦП в руке был большой маракас, и весь концерт он «отбивал ритм». Его ритм был сам по себе, но я смотрела за этим мальчиком — он совершенно точно хотел попасть в сильную долю, часто попадал и всегда отзывался на кульминации и спады — двигался быстрее или медленнее. В принципе, он чаще опаздывал, но совершенно очевидно — он осознанно пытался попасть. Хору его маракас не мешал: дети привыкли, да и что может сделать один маракас против ста тридцати глоток?

Один раз у него подвернулись колени, и он стал заваливаться назад, сопровождающая ловко поддержала его и помогла устоять, больше никаких проблем у него не было.

Я наблюдала за сопровождающими взрослыми — они тоже пели. И так же хлопали-топали, иногда осторожно дотрагиваясь до локтей своих подопечных, если те начинали отвлекаться или буйствовать в ненужном месте. Те моментально останавливались.

Мальчик с синдромом Дауна не пел, но внимательно слушал, хлопал, улыбался. Когда становился слишком оживленным, взрослый тихонечко переключал его на себя, а когда мальчик успокаивался, пел дальше.

Никто никому не мешал.

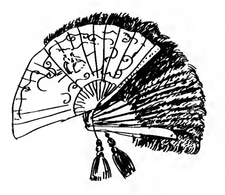
Я думала — насколько этим четверым помогает пение в хоре? Сделать еще один маленький шаг вперед? Или просто почувствовать себя такими же, как все,— поющими и желанными? Ведь им тоже предназначались аплодисменты аудитории, может, даже и в большей степени, уж мои — точно.

А может, их участие еще нужнее остальным ста тридцати? Чтобы привыкнуть к не таким, как они, чтобы быть терпеливее, участливее, сострадательнее к чужой немощи? Уметь «не заметить» неприятного, поддержать улыбкой или помочь, не пожалев пары минут своего времени?

И вспомнился мне однажды увиденный щит с надписью:

«ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.
Остальным желающим сюда встать:
потрудитесь припарковаться немного подальше
и благодарите Бога,
что это место предназначено не для вас».

СТАРУШКА



Стою в очереди в кассу.

Передо мной милая старушка, лет под восемьдесят, обычная старушка, каких тут много,— небольшая, худенькая, одета в мягкое бежево-голубых тонов, в ушах серьги, на сухой руке перстень, с ней девочка лет десяти. Сдает ворох зимних брюк, они лежат грудой на столе и столько же рядом — покупает. Молоденькая кассирша задает дежурный вопрос:

— Что-то не так с этими брюками?

— Да! — демонстративно, как с подиума, заявляет старушка с напускным неудовольствием. Чувствуется, что она заводная, и ей охота не столько поворчать, сколько пообщаться: — Все эти штаны на пуговицах! — Она делает картинный жест над грудой тряпок; жест сродни дирижерско-

му, после которого предполагается немедленное вступление негодующего хора. Но хор в составе кассирши и нас, двух женщин, стоящих в очереди, прозевал ауфтакт и продолжал молча смотреть на старушку, поэтому она была вынуждена продолжить: — Я говорила ей, что лучше мы поедем вместе, а то купишь что-нибудь не то, и пожалуйста! (Взмах над брюками.) Все эти штаны с пуговицами! А мне нужно НА РЕ-ЗИН-КЕ! Я не хочу каждый раз возиться с пуговицами — мне девяносто семь лет! Вот пусть себе покупает на пуговицах, когда ей будет девяносто семь, а я посмотрю!

У хора, окончательно превратившегося в группу миманса [1], синхронно отваливается челюсть.

— Нет! — немедленно воплю я.— Мы никогда вам не поверим!

Старушка всем телом разворачивается ко мне и поднимает бровь.

— Максимум семьдесят! — рапортую я.

— Моя дорогая,— ласково возражает она,— если бы мне было семьдесят, я бы ни за что не стала покупать такие старушечьи штаны.

— Никакие они не старушечьи! Нормальные штаны! Я бы запросто их надела, мне нравятся.

Старушка улыбается:

[1] *Миманс* — группа артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок.

— Они слишком толстые и теплые, но тут я ничего не могу сделать — мне все время холодно, в мои годы...

— Годы ни при чем. Я всю жизнь мерзну. Вы и в этих штанах будете выглядеть молодой, не больше семидесяти.

К ней подбегает женщина лет сорока, видимо мать девочки, и они уже вместе сдают штаны. Старушка открывает кошелек, достает карточку, берет ручку, ищет, где расписываться, все это происходит медленно, карточка не та, она убирает — достает новую, обычная возня на кассе. Сопровождающая женщина тихонько бормочет нам: «Извините, пожалуйста, она хочет делать это сама». Очередь шарахается: «Да вы что! Ничего-ничего, мы подождем сколько угодно».

И я ловлю себя на мысли, что странное дело: меня обычно тяготит, если кто-то, видя ожидающих, начинает пространно разглагольствовать или копаться, но тут я не только не спешу, а, просто выпав из времени, стою и жду, как будто мне позволили вблизи разглядеть редкую диковину и погреться в теплых волнах, исходящих от нее.

Убирая карточку, старушка спрашивает кассиршу:

— Хотите покажу, какая я была в молодости? — И, не дожидаясь ответа, протягивает ей открытый кошелек, в котором традиционно вставлена фотография: — Вот. Здесь я еще тинейджер.

Я, естественно, не выдерживаю:

— Можно и мне посмотреть?

— Конечно!

На старой-старой фотографии портрет тридцатилетней женщины, напоминающей красавиц немого кино: убранные назад темные волосы, огромные глаза, нитка жемчуга.

— Какая красавица!

— Это не тинейджер,— возражает кассирша.

— Тинейджер,— настаивает старушка,— по сравнению с нынешним возрастом.

— Отлично,— говорю я,— тогда я тоже буду говорить, что я тинейджер.

— Конечно,— изумляется она,— у вас еще все впереди.

Женщины закончили покупку брюк, старушка раскланялась с продавщицей и очередью, по-прежнему состоявшей из двух человек, и они отбыли. Девочка катила инвалидную коляску, но старушка шла сама.

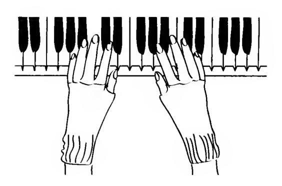
— Извините, пожалуйста, за то, что пришлось ждать,— обратилась к нам кассирша.

— Да что вы! Мы же понимаем, да нам и не в тягость. Дай бог до таких лет дожить и быть в такой форме.

— А я бы не хотела до таких лет дожить,— задумчиво сказала кассирша, пробивая мне брюки.

Я шла и думала — не знаю, до каких лет я хотела бы дожить, но очень бы хотелось до конца отпущенной мне жизни быть в таком здравом уме и бодром состоянии тела и духа. И еще хотелось бы, чтоб было на кого ворчать...

ГИМН ФИНЛЯНДИИ



У представителей разных профессий разные сезоны обострения. У нас, в балетных школах, это время подготовки к отчетным концертам.

Итак, грядет концерт, все готовятся, мое дело — музыкальное сопровождение. Нервы у меня крепкие, но все равно всегда жду заявок с чувством легкой тревоги. Сегодня была первая ласточка.

Подходит педагог:

— Мы начинаем готовиться к выступлению, я выбрала музыку и хочу, чтобы вы посмотрели, там нужно немного сократить-соединить, потому что это разные части. Музыка у меня есть, я на следующей неделе вам принесу.

— Хорошо. Что вы выбрали? Может, у меня есть.

— Нам нужен гимн Финляндии.

— Простите, что нужно?

— Гимн Финляндии.

— Э-э... государственный гимн?

— Да!

— Финляндии?

— Да! Но я вижу по вашим глазам, вы не знаете гимна Финляндии?

— Нет.

— Он прекрасен!

— Э-э... Вы хотите танцевать под гимн?

— Да!

— На пуантах?

— Да!

— Э-э... а это почтительно, под гимн?

— Да какая разница, что это, гимн — не гимн?! Это, прежде всего, музыка, и это — прекрасная музыка! Там рассвет, восходит солнце,— она начинает вздымать руки, глаза увлажняются,— и такой простор — озера и леса, это необыкновенная, очень, очень вдохновляющая музыка Сибелиуса, мы начнем с нее!

— С гимна Финляндии?

— Да!

Пытаюсь задуматься, у меня не получается.

— Вы — финка?

— Ну при чем тут это?! — отмахивается она.— Никакая я не финка, это такая музыка! Я вам принесу, увидите!

Урок закончился, перед уходом напоминаю:

— Не забудьте, пожалуйста, в следующий раз принести ноты.

— Какие ноты?

— Гимна Финляндии.

— У меня нет нот.

— Вы же сказали, что принесете?

— Я имела в виду музыку, у меня есть музыка. Но вы послушаете и сыграете, это легко! (Я, кстати, всегда зверею, когда человек, ничего не понимающий в предмете, говорит «это легко!».) Нам только эту мелодию. Да вы узнаете сразу — на Олимпиаде ее исполняли!

— Нет, не знаю.

Пришла домой, набрала в Интернете «Гимн Финляндии» и стала слушать. На этом история бы и закончилась, но внезапно она приняла неожиданный оборот: мне по скайпу позвонила мама...

Я ответила, мол, подожди секундочку, я музыку выключу. Выключила. Она, добродушно:

— А что ты слушаешь?

— Гимн Финляндии.

— Что?

— Гимн Финляндии!

— Ой. Чёй-то?

— А почему бы мне не послушать гимн Финляндии?.. Мне его надо играть на концерте в балетной школе.

— Гимн Финляндии?!

— Да. Мы под него будем танцевать.

Небольшая пауза.

— Что, а подо все остальное уже перетанцевали?

— Но под гимн Финляндии всяко еще не танцевали!

Червячок сомнения зашевелился у меня внутри:

— Кстати, а ты не знаешь, кто написал гимн Финляндии, точно ли Сибелиус?

— Понятия не имею, а в Интернете не можешь найти?

— Да я еще не искала, только пришла.

Тут в комнате появляется папа и спешит к монитору:

— Сибелиус! Сибелиус написал, эта музыка — национальный гимн Финляндии.

Мы с мамой вытаращились на него. Напомню, мы обе — музыканты, а папа — офицер ВМФ в отставке.

— А ты откуда знаешь? — настораживается мама.

— Знаю, и все, это очень красивая музыка. А вы что, не знали?

— Да мы вообще только что узнали, что у Финляндии есть гимн.

— Тогда я вам сейчас расскажу, слушайте: Сибелиус написал симфоническую музыку, но там была такая красивая мелодия, что к ней написали слова и стали петь. И при

Николае Втором, когда Финляндия была российской губернией, эту музыку запретили исполнять, потому что она очень поднимала чувство национальной гордости. А музыка действительно такая духоподъемная, такая широкая, там такие озера, леса, там такая природа, солнце встает, прямо наполняешься таким высоким чувством, это не объяснить, но, когда я слушаю эту музыку, я чувствую себя финном!

Мы обалдели.

— Ты не путаешь? — прищурилась мама.— Солнце встает — это у Грига.

— Григ — это не Финляндия,— обиделся папа.— Не надо считать меня идиотом.

Мы сделали еще несколько попыток узнать, откуда у него такие сведения, но результата не добились.

— Ну, если еще будут вопросы о музыке, обращайтесь ко мне,— добродушно завершил он беседу и ушел.

Шутки в сторону, а я пошла обратно в Интернет, внимательно прослушала гимн Финляндии и финном себя не почувствовала. Это насторожило.

Я понимаю, что все оценки субъективны, но чтобы два совершенно разных человека на противоположных концах земли говорили одними и теми же словами, почти слово в слово?.. Что-то не то с этим «гимном Финляндии». И я пошла с другого боку — набрала в поисковике «Сибелиус

гимн Финляндии», и обнаружилась совсем другая история: гимнов у Финляндии два — «национальный» и «официальный», исполняемый во время официальных церемоний. У Сибелиуса есть симфоническая поэма «Финляндия», заключительная часть которой известна как «Гимн Финляндии»: когда в финале, после мрачных первых частей поэмы, после безнадежности, появляется эта светлая тема любви и нежности к своей измученной земле, она действительно производит необыкновенное впечатление. Правда, на Олимпиадах исполняют только государственные гимны, но, оказывается, однажды было сделано исключение...

А теперь возвращаемся на исходные позиции — подготовка к концерту только началась, а я уже:

— провела исследование по истории Финляндии,

— гимнам Финляндии,

— почувствовала разницу между hymn и anthem,

— могу насвистеть «Гимн Финляндии» (кстати, отмены закона на наказание за насвистывание этого гимна не было),

— могу по первым строчкам текста отличить версии гимнов.

И главное — если бы не разговор с папой, то развитие событий могло бы быть таким: нашла бы я ноты официального гимна, принесла и заиграла бы на уроке, а педагог меня недоуменно остановила бы:

— Что за фигню вы играете, уважаемая?

— Как фигню? Это то, что вы, собственно, заказывали — гимн Финляндии.

— Да вы что?! Я такого не заказывала! Я вообще первый раз это слышу. Как, по-вашему, можно под это танцевать балетом?!

Всё как всегда — холера идет по плану — мы начинаем готовиться к отчетнику.

МИСТЕР ИКС,
или ПОНЕДЕЛЬНИК ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ



Однажды у меня в расписании на грядущий семестр значилось два урока в неделю. И всё.

От одного педагога я сама ушла, другой, на которого приходилась моя основная нагрузка, уехал, на его место пришел кто-то новый. Обычно педагоги пишут заявки на пианистов, которых они хотят, но новенький меня в глаза не видел, а значит, хотеть не мог, и, ко всему прочему, на факультет взяли еще одного концертмейстера, и передо мной робко замаячила перспектива увольнения.

Эвелин, которую взяли, я представляла в общих чертах — когда-то мы недолго работали вместе в балетной школе. Потом она уволилась, я спросила — почему? Ответ навсегда врезался в мою память: «Я работаю концертмей-

стером уже пять лет и достигла вершины мастерства, поэтому мне здесь скучно. Хочу заняться чем-то новым». Не знаю, какими глубинными поисками она занималась эти годы, но почему-то вернулась к роялю, правда, не в школе, а в колледже. Ну ладно, сочтем это за карьерный рост.

И вдруг в первую неделю учебного года получаю от Эвелин письмо — не заменю ли я ее в понедельник? Ей куда-то надо ехать.

Не дыша, я медленно перечитала письмо. Да, она просит сыграть за нее два класса... Вот так запросто — своими руками взять и подпустить меня к новому педагогу? Какая неосторожность. Прежний босс запрещал не только давать мне часы в другом месте, но даже ставить на замены — чтобы не увели, а эта — сама! Удача снисходительно поворачивалась ко мне лицом.

Новый педагог оказалась очень приятной женщиной из Техаса. Полчаса, а то и больше она знакомилась с группой, это был первый понедельник семестра, а потом они встали к станку.

Она совсем не походила на наших подчеркнуто корректных северных дам. Ирис была открытая, эмоциональная, искренняя и при этом строгая. Наши чаще наоборот — холодноватые, но постоянно подхваливающие. К тому же она была смешливая, и не из-за хорошего настроения, а характер такой. Как вела класс — тоже понравилось. Я отыграла один урок, и наступил часовой пере-

рыв. Ее облепили студенты, поэтому поговорить с ней не удалось, но меня это не беспокоило — впереди был еще один урок, и я в прекрасном расположении духа ушла пить кофе...

Дома я подумала, что, наверное, с новой группой опять начнется долгое знакомство, и мне придется сидеть и ждать битый час. Эх, нужно было спросить разрешения прийти попозже. В принципе, и так можно опоздать, но, немного посомневавшись, я решила пойти вовремя, все-таки педагог не мой, и я первый раз. Заранее не поднялась, а пошла впритык...

На подходе к залу удивилась: в коридоре полно студентов, захожу — еще больше, это что, вечеринка по случаю начала учебного года? В зале шумно, весело, кто ходит, кто стоит, кто переодевается на полу, радостная суматоха. Стала пробираться к роялю, глаз выхватил несколько знакомых педагогов по модерну, по джазу — да, наверное, отмечают начало учебного года. Осторожно иду, протискиваясь между телами, как вдруг кто-то сзади завопил, подскочил ко мне, схватил за локоть и чуть ли не понес с воплем: «Вот она!!! Я нашла ее! Вот она!»

Я обернулась. Это была женщина из администрации.

— Мы уже не знали, где вас искать! Уже звонили вам домой, ну слава богу, нашлась!

Не сообразив, что происходит и что лучше — извиняться или защищаться, я забубнила:

— Я не опоздала, вон же, еще две минуты до начала, а что случилось?

Но она не слушала, а, вцепившись мертвой хваткой, тащила меня сквозь толпу:

— Джентльмены, вот она! Она здесь!

Наконец, она продралась к четырем мужчинам у рояля. Трое из них были высоченные атлетичные и один обычного роста. Она стала представлять нас друг другу, со своей верхотуры они молча разглядывали меня в упор, тот, что пониже, протянул руку:

— Очень приятно, Андре,— он улыбнулся,— у меня одно время был русский концертмейстер.

Вдохнул полной грудью, да как запоет:

— Очи чиорныйаа! Очи страсныйаа!

Мужчины не шолохнулись, я громко сглотнула.

— Ну вот и хорошо,— защебетала администратор, затем захлопала в ладоши и прокричала, повернувшись в зал: — Внимание-внимание! Мы начинаем! Начинаем! Пожалуйста, приготовились!

Студенты стали подходить к станкам, расставленным по всей площади зала. «Ничего не понимаю,— думала я,— у них что, теперь два педагога? А где Ирис? Или это он основной педагог? А с ним что за бизоны? Странные они какие-то. Опа! — тоже заниматься приготовились? Это здорово! Интересно, что они будут вытворять?» Они действительно были странные, хотя все в них говорило, что

они свои, из балетного мира. Издалека они напомнили вдруг полунинских мимов, такое впечатление, что у них на лицах грим, хотя я точно знала, что его не было, я же только что стояла с ними рядом. От чужих балетных обычно веет холодным, они всегда немного отстранены, в своем коконе, а от этих исходило горячее, хотя держались они тоже особняком.

Народу было много, станков не хватило, побежали за дополнительными переносными. К моему величайшему сожалению, эти трое уступили свои места студентам.

Андре стоял рядом с роялем. Взглянул на меня и подошел:

— Да вы не бойтесь,— улыбнулся он,— если что, у меня диск есть. Как только вам станет тяжело, вы скажите, я перейду на диск, не переживайте.

— Вы тоже не переживайте, диск не понадобится. Вы можете делать все, что вам захочется.

— Звучит многообещающе!

Я подумала, что раз уж мы разговорились, то можно у него спросить:

— Скажите, а что здесь происходит?

— В каком смысле?

— Ну... почему столько народу? Какое-то событие?

— Э-э...— он выпрямился.— Вообще-то это мастер-класс... а вам не говорили?

Я стала покрываться пятнами, но как можно спокойнее ответила:

— Говорили, конечно, я просто все перепутала.

— А вы играть сможете? — насторожился он.

— Да, конечно, не переживайте, все в порядке, я просто перепутала дни недели, все будет нормально. Если хотите сдвинуть темп, не надо меня останавливать, просто дайте знак или начните делать в нужном темпе, я подстроюсь под вас.

Аудитория утихла, педагог начал показывать первую комбинацию. У меня в ушах звенело от злости на Эвелин — так меня подставить?! Теперь все стало ясно: она просто сбежала с мастер-класса. Взбесило то, что пыталась обмануть. При этом было ясно, что, когда я предъявлю ей претензию — она захлопает ресницами и скажет, что ничего не знала, думала, что просто два урока, что она новенькая и не разбирается во всех этих деталях. Ладно, она новенькая, но я-то нет?! Я прекрасно знаю, как проводятся такие вещи: согласие пианиста получают заранее, и поменяться по своей воле ты не можешь, и знала она, кому предлагала, ей куда проще было попросить любого коллегу из своего колледжа, чем разыскивать меня. А если бы я сегодня опоздала? А если мне нужны какие-нибудь специальные ноты, которые я ношу на мастер-классы?!

Так... спокойно... слишком много ей внимания, нужно выкинуть ее из головы и переключиться на урок.

Андре оказался интересным педагогом, вел класс уверенно, находился в прекрасной форме, хотя был не юн. Комбинации задавал навороченные, сложные (сложно не играть, а выполнять), мне стало азартно, и я забыла про Эвелин, по большому счету, мне все равно, кому играть.

Он не поправлял студентов, шел вперед, не останавливаясь. Обращаясь ко мне, вставлял какие-то русские слова, а вступления и вовсе произносил по-русски — «и» вместо «and». Настроение было прекрасным, судя по всему, они хорошо ладили со своим бывшим концертмейстером, я напустила в музыку «русского», чтобы напомнить ему того пианиста.

Прошло минут десять, и вдруг от зрителей отделилась фигура и, пригнувшись почти к своим коленям, прокарабкалась ко мне и села на соседний стул. Это была Ирис. Мы шепотом стали перекидываться впечатлениями (замечу, все это время я играю), если гость поворачивался к роялю, мы замолкали, преданно уставившись на него, как школьницы.

— Скажите,— зашептала она, когда он отвернулся,— а вы по каким дням мне играете?

— Я вам не играю.

— А как же сегодня?

— Заменяю.

— А где вы играете?

— Там и там, в принципе, это меняется каждый семестр и зависит от расписания.

— А-а... значит, вы будете у меня в следующем семестре?

— Нет. Если вы хотите конкретного пианиста, то должны писать на него заявку. Но в следующем семестре, может, и не дадут... Зависит от расписания. Но тогда через семестр, возможно... Надо писать запрос.

— Мне не говорили! Мне вообще ничего не говорили! Откуда я могла знать, я же новенькая? — Она перестала шептаться и заговорила громче: — Что, с новеньким можно не считаться? Вы знаете, я тут недавно, но уже очень удивлена,— горько пожаловалась она,— я во всем разбираюсь сама, так же нельзя?! И сейчас еще и это? — Видимо, я была последней каплей в каком-то процессе. Она разразилась бурным монологом и в заключение выдала: — Как ваша фамилия? — Не дожидаясь ответа, махнула рукой: — Впрочем, все они знают!

Встала в полный рост и ушла.

Гость поймал мой взгляд и подбадривающе кивнул, наверное, ему показалось, что мы ругались.

Урок гладко катился своим ходом, играть было в удовольствие, и контакт с педагогом был самый доброжелательный, но появилось и не отпускало зудящее ощущение подвоха. Такое впечатление, что разыгрывалась какая-то шутка, которую из присутствующих одна я не понимаю.

Педагога все устраивало, он выделывал знатные кренделя, иногда даже пел, что говорило о хорошем расположении духа, но что-то в нем не давало мне расслабиться и уверенно нестись по накатанным рельсам.

Я с удивлением подловила, что мне хочется играть что-нибудь ресторанное, чарльстонное, хочется повалять дурака, но на уроке классического танца, тем более с незнакомым педагогом, дурака не валяют, и я аккуратно играла дальше.

Когда он начал показывать прыжки, запел «Очи черные». Ну тут меня не нужно долго уговаривать — с размахом выдала ему «Очи черные». Кабы это был обычный урок, я бы ему подпела, но тогда не рискнула добивать свою репутацию, все-таки наши побаиваются непредсказуемости. Гость может как угодно выкрутасничать, на то он и гость, его и пригласили — поглядеть на диковину, а свой поющий концертмейстер — это все-таки за гранью... дальше только пляшущий.

Студентов было много, поэтому прыжки длились долго, и в импровизацию я вбухала цыганочку, на которую Андре тоже среагировал — узнал (я мысленно слала приветы незнакомому пианисту, хотя и удивилась его репертуару).

Пытаясь нащупать почву, я предположила, что Андре, наверное, из труппы современного балета. Или модерна, или любое контемпорари — как-то все было слишком

бурным, энергичным, и работал он крупными мазками, тогда как «балетные в чистом виде» придирчивы именно к деталям (ногу-то каждый дурак поднимет, но поднять ее нужно строго определенным образом, а не иначе). Я искала в его движениях и словах приметы другого танца, но нет, он и двигался, и показывал все как настоящий балетный педагог, и, как ни крути, это был классический танцовщик, только... какой-то странный. Как будто его разбудили утром и сказали:

— Слушай, а проведи мастер-класс?

А он бы ответил:

— Да вы что, мужики? Идите на фиг.

— Да ладно тебе!

— Ну ладно...

Я бросила бесполезные гадания, в конце концов, может, это просто личный темперамент.

Урок закончился на подъеме, азартно, студенты были взмыленны, зрители довольны. Педагога тут же окружили наши учителя и ученики, поднялся шум, но он, увидев, что я ухожу, продрался сквозь толпу и остановил меня, чтобы поблагодарить, и наговорил комплиментов.

Вечером заглянула в Интернет посмотреть в расписании, кто это был, и охнула — это знаменитая цирковая компания «Cirque du Soeil», и они уже уехали — представление я прозевала. Оказывается, труппа каждый день за-

нимается балетным классом, видимо, это был их педагог-репетитор. Дико захотелось повернуть время и по новой отыграть им класс — с буффонадой, страстями, с иронией, без оглядки на правила, но, увы, у жизни не бывает черновиков...

...Через день мне пришло письмо из администрации о том, что Эвелин уволилась по состоянию здоровья, и не могу ли я взять ее часы. С Ирис мы год проработали душа в душу, а потом она вернулась в Техас. Не прижилась она в нашем северном крае...

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК



Закончился один урок, начинается переменка, беру книгу, чтобы скоротать время, не успеваю углубиться, как подходит важный мужчина и представляет полуодетую девицу. Раскланялись. Они начинают отходить, тут до меня доходит:

— Минуточку? А где Тэд?

— Так вот же — Алиса, она будет вести класс.

— Навсегда?! — охаю я.— Или только сейчас?

Мне жалко, если Тэда заменят,— это мой любимый преподаватель в колледже.

У Алисы вытягивается лицо, мужчина мнется:

— Э-э... мнэ-ээ... ну, как получится, это открытый урок на соискание позиции преподавателя.

Тут я вспоминаю, что действительно, было дело. Ну ладно, думаю, хоть открытый урок поиграю, а то мозги и руки

плесенью покрываются от однообразия. Подзываю Алису, говорю, мол, на меня не ориентируйтесь, делайте что хотите, со мной проблем не будет, только демонстрируйте упражнения вот здесь, чтобы я видела, засим и разошлись.

А тем временем в зал начинает прибывать народ — старшие преподаватели с разных отделений, пара модéрновых, по контактной импровизации, из администрации дамы, и, смотрю, у дальнего станка пристраивается старший преподаватель факультета, встал и стоит себе тихонько разминается, а рядом жена главного преподавателя всея конторы по классическому танцу. Ну уж если сама боссярша пришла на новенькую смотреть, то дело серьезное! Значит, вправду думают брать — не брать. Обычно, когда все эти соискатели дают открытые уроки, имя того, кого примут, уже впечатано в контракт, а в зрительном зале сидит-подремывает какой-нибудь преподаватель, у которого сейчас рабочий день, или вовсе кто-нибудь из секретарш для видимости, а тут... В общем, расстроилась я, не хотелось бы, чтобы Тэд ушел.

Ну что сказать про Алису... Нормальная, сильная, строгая, комбинации сложные давала, четко по вагановской системе (хотя руки и голова «от Баланчина», но для американской школы это частое явление). Сначала я чертыхнулась — она явно привыкла под консервированную музыку работать — фразировка у нее не идеальная, и останавливает, когда до конца фразы остается совсем немножко,— тут любой среднеопытный педагог дождется конца и кивнет. Подогнала я ей элеган-

тно эти концовочки, но на душе стало тоскливо — это что, я могу получить ее навсегда? Ну уж нет, думаю, еще раз такое сделает, просто оборву музыку по команде, и пусть торчит посреди класса, как дура. И что порадовало — не понадобилось! У нее оказалась очень хорошая реакция, и вообще быстро соображает, перестраивается на ходу, ей пары раз хватило, чтобы сориентироваться, как надо, и дальше было все нормально.

У каждого преподавателя есть стиль, характер, внутреннее амплуа. Конечно, педагоги могут творить в любых жанрах и характерах, но есть для каждого один, самый естественный, самый желанный, в который он скатывается по умолчанию, если нет других задач. Этот «характер» пронизывает его урок, хореографию, выбор репертуара, и если вы, например, с ним не совпадаете, то беды большой нет, но и полета не будет, потому что ну кому охота годами играть лебедёвое, когда хочется дон-кихотовое? Зная «характер» преподавателя, можно исподволь «подталкивать» его наверх или, наоборот — «гасить» (например, играть ему ту музыку, на которую он внутренне отзывается, тогда к середине урока он уже находится в разогретом состоянии и рвется в бой — творить. И наоборот — можно загасить «неуютной» для него музыкой, неточными темпами и сбивающими акцентами).

Например, одна дама, что к станку встала,— жизельково-хрустальная. Всегда и везде. Ну, ежли нечасто играть, то ниче-

го, нормально — опять же и книжку почитать можно во время урока — не мешает, но когда эта «пугливая девственность» во всем? Эти нежные ручки крендельком наверх и кукольное реливе? Всегда?! Так и находимся в этом состоянии из урока в урок — не мычим и не телимся. А такое на диагонали, на больших прыжках? Вместо полета это вечное трепетное с придыханием балансе, а потом — скок разок наверх и всё? А жить когда?! (Даже у Портман в «Черном лебеде» не только эта эмоция, а еще и другие некоторые проскакивают, но Портман — это полтора часа для терпеливых по собственному желанию, а мне — играй из года в год каждый день по несколько уроков?! Кто такое вынесет?) И еще, куда ни шло, этот нежный хрусталь на полупрозрачных нимфах-профессионалках, но на малоподвижных коровах, которые занимаются для души, для формы? Корова Жизелью — тяжелое зрелище, таким нужен мощный пинок дон-кихотовым, горящим, чтобы хотелось лететь! Лететь, забыв, что «рожденный ползать летать не может»,— может! Еще как может! Но для этого педагог другой нужен, и музыка другая, тогда все что угодно полетит, еще и чувствовать себя будет Нуреевым, не меньше.

Или, например, «Баядерка с корзинкой». Это когда сначала долго тягуче-романсово вас укоряет (за все былые и предстоящие обиды), потом недолго, но навязчиво истерит (собственно, с корзинкой), ну и самый любимый момент — долгожданно умирает. Таким дамам играть хоть и утомительно, но не так скучно, а к припадкам возбуждения мож-

но привыкнуть. Хуже, если класс не отвечает на позывы педагога и стоит столбом, а я же не могу игнорировать — я на работе, мне за это деньги платят, вот вдвоем и колбасимся.

Много существует типов, а с нынешним преподавателем Тэдом мы прекрасно совпадаем. Мне нравится и его отношение к предмету — не бывает проходных уроков, каждый раз выкладывается без остатка и поднимает класс в воздух; и манера преподавания; и, что редкость, но очень важно для меня,— абсолютно музыкален, поэтому работать с ним в удовольствие, мы понимаем друг друга без слов. А его финалы — буйные, бравурные, дон-кихотовые — праздник, ощущение сцены, желание лететь.

А эта Алиса... ее диагональ... может, конечно, она перемудрила, желая продемонстрировать комиссии все, на что способна, и навбухивала всякой всячины, но полетать с этими гантелями на ногах не удалось. И манера у нее — эдакая сдержанная, заумно-вдумчивая. Вдумчивый полет...

Немного взбодрилось, когда мужчины вышли на большие прыжки, да и то потому, что им хотелось выпендриться. Развернулись во всю мощь, но... профессионалы меня поймут — как взлететь, если комбинация не располагает? Может, если бы ей не надо было показывать себя во всей красе, то она задала бы более стройную комбинацию? Хотя общее впечатление от нее — хорошее.

Урок закончился, студентам раздали листы, где они должны проставить свои оценки кандидатке, а я стала про-

дираться к выходу. Танцоры любят читать-писать, сидя или лежа на полу. Растянулись они, ноги в стороны пораскидали и стали заполнять. Рядом педагоги толпятся-обсуждают, у них свои бумаги, а молодая секретарша суетится, раздает листы тем, кто еще не получил. Вполоборота сунула мне листок, я взяла и заулыбалась: мне не положено, это она по ошибке дала, концертмейстеры никогда не оценивают педагогов, да никому и в голову не придет их спрашивать, потому как концертмейстер ничего ни в уроке, ни в танце понимать не могёт, его воспринимают как техническое приложение к преподавателю, в отсутствие которого он не подает ни признаков жизни, ни разума.

Наконец секретарша подняла на меня глаза, ойкнула и потянулась за своим листочком:

— Ой, извините, вам не надо, это оценки педагогу.

А я лист не отдаю, мне любопытно глянуть, что там за критерии.

— Если хотите,— заулыбалась она,— ну заполните тоже... как хотите.

Но это она так, из вежливости,— неловко же прям сразу взять и забрать назад, как у мартышки. Наверное, решила потом просто выкинуть мой лист, и все дела, лишь бы меня не обидеть. Стоит неподалеку, зорко ждет, когда я его верну.

Глянула я на листочек — ой-ой! Там столько всего! Не меньше двух десятков вопросов и по пять ответов к каж-

дому, да что да как, да манера преподавания, да стиль ведения, да владение аудиторией, да понятно ли объясняет, да возбуждает ли в вас творческий порыв, да уделяет ли каждому внимание, да профессиональные навыки, да интенсивность нагрузки и так далее, и так далее — замаешься отвечать! А еще с другой стороны листа несколько вопросов, и нужно самостоятельно длинно расписать, что понравилось/не понравилось, чем новым овладел и какие ваши (!) рекомендации преподавателю по ведению урока, вона как! (Ага, сейчас студент по джазу начнет расписывать свои рекомендации педагогу-классику.) Потом все эти ответы соберут, приплюсуют преподавательские вердикты, проанализируют и вынесут высочайшее решение — целая наука.

Вздохнула я, взяла ручку и написала крупно вверху, где места побольше:

ТЭД — ЛУЧШЕ!

И отдала.

Что с концертмейстера взять-то?

* * *

Хотите знать, о чем будет следующая книга? О музыке, о хоре, о гастролях, о студенческих приключениях неунывающих подруг и о многом другом. В качестве приглашения — один рассказ из следующего сборника. Не прощаюсь!

НА ОПОРЕ



Для начала маленькое пояснение для немузыкантов: вы наверняка замечали, что оперные певцы поют как-то не так, как простые смертные или, там, попса? И что характерно — абсолютно без микрофона (в отличие от остальных) и при этом перекрывают своим голосом симфонический оркестр и любой величины заполненный зал, и слышно будет в самом дальнем уголке, даже если поют тихо-тихо?

Все это не только потому, что голоса у них сильнейшие,— их еще долго учат, как петь. Из всей науки запомним только, что академические певцы поют «на опоре» (специальным образом поставленное дыхание), а остальные поют просто так.

Дело было в Италии. Концерты и гастроли — это отдельная песнь, толстый авантюрный роман в музейном интерьере, отложим их на потом, а сейчас речь пойдет о небольшом эпизоде в студенческой столовой.

Жили мы в сосновом лесу в пригороде Рима в маленьких деревянных домиках, практически не пересекаясь с другими обитателями лагеря. Режим у каждой группы был свой, и завтрак подавали индивидуально под каждую группу, а потом подгоняли красивый двухэтажный автобус и увозили на весь день, возвращая глубокой ночью.

Хоров (как и русских) до нас там никогда не было, в основном студенческие спортивные команды или туристические группы, поэтому повара и официанты таращились на нас и уговаривали дирижерку на предмет что-нибудь спеть. В семь утра хором вообще-то поется туго, поэтому она отнекивалась и обещала, что, может быть, споем в день отъезда, тем более, уезжать будем посередине дня.

Покровителем и светлым ангелом нашего хора был немец, настоятель крупного кафедрального собора, который и устраивал нам гастроли, поэтому жили мы чаще в монастырях, пели в известных храмах и сопровождали нас священники. С одним из них мы, четыре подружки, очень сдружились и ходили всегда вместе.

Отец Павел был чех, в юности сбежавший в Германию, гонимый заветной мечтой — стать священником. Он достиг высокого положения, имел свой приход и был бири-

таулистом (мог совершать православные и католические обряды), в совершенстве знал пять языков — чешский, немецкий, итальянский, русский и забыла какой. Из-за русского его и пригласили сопровождать наш хор в качестве помощника, гида и переводчика.

Он сам проводил экскурсии и показывал нам храмы, с удовольствием отвечая на вопросы, и, договариваясь с кем-то незримым, проводил нас в те места, которые были недоступны посетителям. Поражали огромные «закулисные» пространства костелов — государство в государстве.

Мы любили с ним поговорить, особенно о традициях, религиях, незнакомых именах и произведениях искусства. Он охотно пускался в любые подробные объяснения, но никогда не начинал беседу сам, особенно на религиозную тему, а всегда ждал вопроса. Одинокий по жизни, он трогательно заботился о нас как о своих родных, радуясь, когда может порадовать, и чувствовал нашу ответную нежность.

И вот в наш последний день закончили мы обед, и дирижерка вяло пустила по рядам весть, что надо бы спеть.

Мы обреченно вздохнули, но деваться некуда.

Надо сказать, что пение за обеденным столом при низком потолке — не наш жанр. У нас вообще-то церковный репертуар и сложная светская программа, а всяких там разудалых «оп-ля» у нас нет, а народ, жаждущий нас слышать в непринужденной обстановке, слабо это представляет.

Выучить что-нибудь легкомысленно-бисовое наш хор тоже никак не сподоблялся, поэтому в подобных случаях и бисах на светских концертах объявлялась одна и та же незыблемая «русская-народная-песня-Подмосковные-вечера».

Любите ли вы «Подмосковные вечера» так, как люблю их я? Я их не переношу, я даже шутить на эту тему не могу. Эта песня, в нашем исполнении, вызывала у меня приступы всех припадков и аллергий, которые существуют в природе. Я не пела. Я смотрела вниз и глубоко дышала, но до конца меня редко хватало, и я начинала ругаться с подругой, как она может это петь. Она, отбиваясь, шипела между фразами и щипалась, кто-нибудь из верхнего ряда пихал меня папкой, и я переключалась наверх, администратор хора, певшая рядом, начинала рычать: «Прекратите, уже почти допели». Я не люблю «Подмосковные вечера». И поэтому, только поэтому, а совсем не из-за какого-нибудь снобизма, я не присоединилась к нестройному хору, кисло затянувшему постылую песню.

Надо сказать, не только я отлынивала, нас и так было многовато на это помещение, поэтому отдувались те, кто находился ближе к восторженным слушателям.

И вот поем мы, поем, как вдруг в кафетерий вваливается американская мужская баскетбольная команда. Довольно шумно и фамильярно рассаживаясь напротив, они заинтересованно поглядывали на нас, перекидываясь короткими фразами (хм... вообще-то музыка звучит). По-

том, разглядев сгрудившихся официантов, трепетно слушавших пение, и, видимо поняв, что сейчас их обслуживать никто не кинется, а может, еще чем другим занедоволились или просто выпендриться захотелось, но грянули они со всей дури бодрый американский марш. Мы обалдели.

Как же так можно, мы поем, зрители слушают, а тут поверх этого, как по ажурным кружевам кирзовыми сапогами, прет напролом мужланский марш? Зачем? И представьте себе этих парней: молодые, здоровенные, да у них размер ноги — половина нашего роста, а напротив — мы, маленькие учителки музыки и один старик.

Но больше всех расстроился Павел. Всю поездку он носился с нами, как наседка с цыплятами, подкладывая что послаще да помягче, а тут такое.

Он сделал попытку усовестить баскетболистов, но они не собирались останавливаться. Он поискал глазами дирижерку, но она кивнула ему, мол, все нормально, ну их.

Он бормотал нам, бросьте, девочки, они же здоровенные мужики, и как им не совестно, только не расстраивайтесь!

— Да вы что,— прошептала подруга,— они не знают, с кем связались, мы же поем на опоре,— и показала на свой живот.

Он посмотрел, куда она показала, но не успокоился. Он качал головой и вздыхал, а песня, не останавливаясь, пере-

шла в «По Дону гуляет», а это вам не «Вечера», там есть где развернуться. Хор принял вызов.

Американцы, как и положено среднестатистическим гражданам, больше одного куплета редко знали и суетливо запрыгали с песни на песню. Нам спешить было некуда. И только горе Павла росло и росло. Он выглядел как ребенок, который бежал навстречу людям с распахнутыми руками, а ему плюнули в лицо. На его бледных щеках проступили красные пятна, он ерзал и что-то сокрушенно бормотал.

Я погладила его по ладони:

— Не переживайте. Смотрите...

А между тем в хоре происходили изменения, невидимые непосвященному глазу: медленно, как можно незаметнее, по одной, девицы осторожно меняли положение, тихонечко выпрямляясь и расправляя плечи, кто сидел, облокотившись на стол, как бы невзначай отклонялись назад, перекрещенные ноги ставились ровно, одна к другой, подбородки медленно поднимались, ушло благодушие из глаз.

И не сразу, опять же постепенно, стал меняться звук: он округлялся и тяжелел, превращаясь из эфира в тяжелую воду и уже половодьем заполняя и раздвигая пространство.

Мы еще не запели в полную силу, еще и голоса не налились как следует, а парни, учуяв неладное, занервничали и принялись отбивать себе ритм ногами и руками (кроссов-

ки — ерунда, мягкие, а ладони по столу — хуже). Но и это — детские утехи, наша махина уже развернулась в полную мощь и вышла на прямую.

Хор расслаивался на голоса. Если представить мелодию в виде луча, который пересекает комнату, то многоголосие — это множество лучей, решеткой пронизывающее пространство, не оставляя свободного места. А у нас — гармония и глубина, подголосочная полифония, и самая сильная группа — низы, контральто — куда щенячьему маршу до академического хора, который пел в крупнейших кафедральных соборах Европы?

Баскетболисты давным-давно замолчали и притихли, а мы все пели, уже для себя, скупо обмениваясь взглядами, стараясь прикрыть торжествующий огонек, рвущийся наружу,— кто с мечом к нам придет...

Затих финальный аккорд.

Итальянцы, счастливые, как именинники, свысока поглядывая на американцев, замерли, ожидая команды — можно шуметь и в воздух чепчики или еще нет?

И в этой тишине поднимается наша пышнотелая дирижерка:

— Пойдемте, девочки! — И поплыла между рядами.

Мы встали и, задрав носы, пошли за ней. Американцы повскакивали и устроили нам овацию, под которую мы гордо шли на выход (что ни говори, а они народ незлобивый). Итальянцы выхватили Павла и по очереди трясли

ему руку, кричали и передавали горячие восторги, они чувствовали себя победителями.

На улице мы, хоть и знали, что нас все еще провожают взглядами, но уже стали болтать и смеяться. Павел, счастливо сморкаясь, бегал среди нас и по сотому разу рассказывал, как он переживал.

Он семенил, подпрыгивая, как счастливый дошкольник, и говорил без остановки, отбегая к новым и новым хористкам, как он думал сначала: «Ну как же так?!» И как не верил, а потом опять: «Это как же так?!»

И, обежав хор пару раз, и разнеся свой восторг, и насобирав ответных впечатлений, вернулся к нам. Чтобы не надоесть своими вращающимися по кругу восклицаниями, он притих, и шел, вновь переживая эту историю уже внутри себя, жестикулируя и двигая губами, видимо, представляя, как он станет рассказывать это своим друзьям, когда вернется. И, поймав на себе один из взглядов приструнился, но, не справившись с радостью, накатывающей новым кругом, выдохнул:

— Ну как же, как же я люблю это слово — наапори!

СОДЕРЖАНИЕ



Литературно-художественное издание

Лада Исупова

МАСТЕР-КЛАСС

Ведущий редактор *Ирина Епифанова*
Художественный редактор *Юлия Межова*
Технический редактор *Валентина Беляева*
Верстка *Ольги Савельевой*
Корректор *Валентина Леснова*

ООО «Издательство АСТ»
127006, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10
Конт. тел. +7(499) 992-79-93
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Астрель-СПб»
198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская,
д. 11, лит. А
E-mail: mail@astrel.spb.ru

Типография ООО «Полиграфиздат»
144003. г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна д. 25



Трагикомическая история одной гордой и юной девицы, приехавшей в шальные 90-е из маленькой горной республики покорять Москву.

У каждого понаехавшего своя Москва.

Моя Москва — это люди, с которыми свел меня этот безумный и прекрасный город. Они любят и оберегают меня, смыкают ладони над головой, когда идут дожди, водят по тайным тропам, о которых знают только местные и никогда — приезжие.

Моя книга — о маленьком кусочке той, оборотной, «понаехавшей» жизни, о которой, быть может, не догадываются жители больших городов. Об очень смешном и немного горьком кусочке, благодаря которому я состоялась как понаехавшая и как москвичка.

В жизни всегда есть место подвигу. Один подвиг — решиться на эмиграцию. Второй — принять и полюбить свою новую родину такой, какая она есть, со всеми плюсами и минусами. И она тогда обязательно ответит вам взаимностью, обязательно.

Ибо не приучена оставлять пустыми протянутые ладони и сердца.

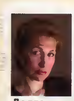


Эта книга — девятнадцать лет детства и юности одной девочки, главную роль в которых играла бабушка. Строгая, добрая и заботливая грузинская бабушка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Книга соткана из отдельных невыдуманных историй из жизни: забавных, трогательных, щемящих и радостных.

И пусть девочка выросла в итоге не совсем такой, какой хотела ее слепить бабушка, но зато уверенная в том, что самое важное в жизни — это большая любовь, безоглядная и всепоглощающая.

Эта книга — дань признательности всем чудесным бабушкам, память о которых сжимает нам горло и заставляет скучать по ним, даже когда мы сами становимся мамами и бабушками.





Лада ИСУПОВА

О СЕБЕ: я педагог-музыкант, живу в маленьком городке под Бостоном. В Москве преподавала в колледже, здесь переквалифицировалась в управдомы, точнее в концертмейстера балета, потому что эта профессия не требует языка — сиди, молча играй, что велено. Долго молча все-таки не получилось — вышла из-за рояля и опять стала преподавать. С удовольствием описываю то, что вижу вокруг.

Перед вами истории — смешные, грустные, поучительные, неизменно интересные и погружающие в волшебный мир музыки, рассказанные человеком уникальной профессии — концертмейстером балета.
Вы когда-нибудь смотрели спектакль не из зрительного зала, а из-за кулис? А бывали на репетиции или на уроке? Хотите заглянуть? На страницах этой книги автор проведет вас через «служебный вход», и вы окажетесь внутри учебного процесса, обычно скрытого от посторонних глаз.
В сборник вошли рассказы не только о профессионалах или учениках, но и о людях, для которых музыка или танец не профессия, а хобби, страсть, часть жизни. Впрочем, часто автор сам чувствует себя учеником, который пытается разобраться в новом для него мире — мире танца.
Книга вошла в шорт-лист национальной литературной премии «Рукопись года 2012».

«Глядя на картины, читая стихи, оценивая актерскую игру, инагда чувствуешь — я таже так магу. А балет? А музыка? Не вазникает ведь? Эти искусства палны недоступнай загадачности! Ток хочется подсмотреть, понять, как эта? Как это — обыкновенные люди — и вдруг летят, застывая в воздухе на мгновение? Как ани «видят» музыку? Как музыка «чувствует» их? Об этам увлекательная книга Лады Исуповой — концертмейстера балета».

Лариса Бау, писатель

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ:

« Я когдо-нибудь убью кокого-нибудь преподавателя балето. В быстрой, но извращенной форме. Не зною, кта будет тат крайний, возможно, случайная жертва, но, уважаемые преподаватели, если вы увидите, как по улице ... в норучники, но всякий случа... учуяв преподовотеля балето... завалить еще одного. Берегит...

АСТРЕЛЬ СПб
www.astrel-spb.ru